
Чудо в Перьях
и прочие
Бедствия
Алиса
Яровая

Алиса Яровая

Чудо в перьях и прочие Бедствия

https://litres.ru/74970359
SelfPub; 2026

Аннотация

Баба Яга укатила в кругосветку слать фото с кактусами, а разгребать «наследство» пришлось внучке. В программе: избушка-сладкоежка, кот с манией величия и лес, чьи сплетни доводят до икоты.

Но Варя умудрилась влипнуть по-крупному: бросила венок в реку — и «выловила» Водяного с брачным контрактом в зубах! Теперь из-за пропажи Печати Нави любое гадание — это юридическая кабала. Как не выйти замуж за рыбу, найти артефакт и при этом не спалить избушку?

В тексте вас ждут:

Один очень саркастичный кот (и его мышиная ОПГ);

Избушка с характером и тягой к десертам;

Юридические тонкости магических контрактов;

Любовь, магия и много славянского переполоха!

Содержание

Пролог	4
Эксперементы требуют жертв!	11
Наука ученая, а дух крученый	22
Особенности национальной охоты за Избушкой	32
Покаянный путь к Избушке под прицелом Царевны-Лягушки	45
Шепот корней и золото Нави: Таинство великого перехода	53
О том, как авторитет в ведре тонул	61
Гха-а-ллубушка и ржаной спецназ	76
Ба кто пожаловал - Морица собственной персоной!	83
Ой на Ивана, Ой на Купала...	89
Как Яга судьбу на чисту воду выводила	104
Купальский рикошет	112
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Алиса Яровая
Чудо в перьях и прочие Бедствия

Пролог

— Ах ты ж поганка облезлая, мухоморами подожратая, а ну куда? Вернись немедля! Варька, Варвара…. Стоять! Кудаааа? — распаляется Баба-яга.

Сзади раздаётся нарастающий гул, будто рой рассерженных шершней в бочке заперли — это бабкина ступа на форсаже коряги пересчитывает. Старое дерево трещит, из-под донца сизый дым валит, гариной на весь лес несёт, а помело над ухом свистит, как выпущенная стрела. Только щепки в разные стороны летят, когда Яга, вцепившись в борта, ветки распихивает.

Я бегу босоногая, хохоча, роса между пальцев хлюпает, трава ступни щекочет, уже почти границу леса преодолела. Еще токма пара метров оставалася.

Ветром сарафан раздувает, пятки так и сверкают, а в спину летит бабкино ворчание и лязг ступы, которая на каждом ухабе подпрыгивает, аж зубы у Ягуни клацают.

Бабуся, конечно, позлится да перестанет, а мне б только

из леса выскочить, границу между Явью и Навью пересечь и на ярмарку в Маковки заявиться.

Ох, как хочется петушка на палочке — чтоб прозрачный был, густо-янтарный, на солнышке горел, и чтоб язык от жженого сахара потом весь вечер рыжим ставился.

Да ватрушки горячей, с которой творог лезет, и чтоб край обязательно хрустел!

А на каруселька... ух, как охота, чтоб дух захватило, чтоб небо с землей местами поменялися, а косички мои в разные стороны разлеталися.

Говорят, там бубны гремят, шарманка воет, медовые пряники целыми горками лежат, а девки в красных платках пляшут так, что пыль столбом стоит. И петухи бойцовские дерутся, и скоморохи на ходулях ходят, и медведя ученого по кругу водят.

Эх, хоть одним глазком бы глянуть…

— Ай, ой — вскрикиваю, ступеньками своими бедненькими на шишку напрыгнула, ай, больно то как.

Лапти свои я в избе оставилалась — я там типа на печи сплю, болезная. С самого утра воспитательницу свою вокруг носа вожу, но, видимо, сдали меня, ироды: то ли Изба наябедничала, то ли Печь ее подначила…

Вот вернуся вдомь — и не видать им ни варенья шишкового, ни разговоров душевных. Ух!

Я вылетаю на поле и ненадолго останавливаюсь.

Мои ступни, уставшие от бега, получают передышку, уто-

пая в мягкой мокрой травке. Тут уже безопасно.

Сзади охает да ахает Яга, уговаривает меня назад вернуться: каши манной с медом от Бурого обещает да земляники целую корзинку. Ай, нет, бабулечка, у меня другие планы!

Позавчерась стукнуло мне одиннадцать лет от роду, и до десятинки думала я, что навья и ходу в деревню мне нет.

У нас как: в Явь только инспектор всегда может, да навьи разные по разным дням и ночам, но Яги к избам привязаны. Мы — пограничницы: и люд видеть нас может, и мы люд, да только в лесу, а за лес ходу нам нет.

Изба наша к Яви передом стоит, а к Нави задом, но иногда наоборот — то как у нее настроенице будет, так и встанется. Она дама такая, непостоянная, и ночами перестройку устроить может.

Спишь себе на перинке, теплым одеялком укрытая, как — на тебе! — Избе сон плохой наснится и все. Она вскакивает и давай крутиться и квохтать — тут хочешь не хочешь, а тоже встанешь, а то и на пол с печи слетишь. А я что птица, чтоб летать-то уметь?

Вот такие последствия, коли недвижимость с лапами и характером.

Вон у Зары, ягуньи с другого конца леса, рядом с Опрышками, изба смирная и спокойная: без слова хозяйки своей — ни-ни. А наша — сама себе на уме.

Как-то с бабкой мы в подлесок ходили ягоду да травы собирать и так увлеклись, что ночеватся там лишились. А Изба

в этот день парад планет посмотреть захотела и ушла за чащобу на пригорок звезды считать да с Котом разговоры задушевные ведовать.

Мы на рассвете вернулися — а ее нету! Ох, как бабка моя причитала, весь лес на дыбки поставила, пока проказницу не разыскала и на опушку не вернула.

Так вот, навьим, значит, нельзя в Явь. Но около года назад проболтался мне Баюн после жирненьких сливок, мятой притрушенных, что не навья я.

Говорит, принес меня ворон черный и на границе оставил, чтоб Макошь иль подручная ее Клуботчица порешали: в Явь меня заберет люд добрый или в Навье Навка утащит.

Да только решение за всех Яга приняла. Она в тот день грибы-мухоморы здоровые для отвара костяного искала (колено ее доканывает) и средь мухоморов меня нашла. С тех пор, как что начудю — поганкою кличет.

И выходит, что раз не ягиной крови я, да силу бабкину не переняла покась, то в Явь вхожа.

С тех пор это стало моей заветной мечтой — в Маковки смотаться да на люд вживе насмотреться.

А как русалки с русалочьей недели еще и петушков на палочке принесли да ватрушками угостили, так я сон весь потеряла — убежал, значит, он, сон мой, далеко, а мне токма планы строить и осталося.

Только все они впровал уходили. Бабка зорко глядит за мною, да и как поняла, куда нос мой засунуться хочет — пол-

леса на уши поставила.

То Берегиня меня у последних сосен споймала да пока Яга на ступе не примчалася — не пущала. То Водяной из лужи за лодыжку — цап! Более я в дождливую погоду не рисковала соваться.

То Баюн сдал — мышей своих за Ягой отослал, они ее, окаянную, и притарабанили.

Тожбо, в этот раз, дальше всего забралася я. Иду себе, руками травку бью, песенку насвистываю и мордаху свою веснушчатую Яриле подставляю — пусть любуется, какая красавица.

— Эха-а-а! Какая же красота!

Вон уже и люд честной слышно, и коровки у домиков окраинных хвостиками машут, приветственным «му-у-у» зазывают…

— Ой! Пущи, пущи, кому говолю!

Ноги мои по воздуху заболтались, воротничок платьица в шею врезался, да и сама одежонка трещит и под мышками натягивается.

Я изо всех сил руками и ногами телепаю, развернуться желаю, чтоб в обидчика плюнуть. Но вот как только увидела, кто это меня, пришпиленной бабочкой, ухватил — все плевательные желания как рукой сняло. Держит меня не абы кто, а сам Кощей — навий инспектор.

Вот те на: лапти в печь, полено в прорубь! А он откуда здесь взялся-то?

— Так-так... — голос у него сухой, будто пергамент старый трется. — Опять человеческая особь в несанкционированном движении к пограничному сектору Яви обнаружена.

Он свободной рукой (костлявой такой, в перстнях черных) из воздуха свиток выудил, развернул его с сухим хрустом и давай пальцем по строчкам водить:

— Нарушение уложения о границах, пункт третий, параграф пятый: «Самовольный исход сущностей и приравненных к ним лиц в жилой массив смертных». Ишь, разогналась, чудо ты в перьях! Не положено. Печать видишь? — он мне прямо в нос сунул синий сургуч на свитке. — Граница на замке, закон на бумаге, а ты — в опись нарушителей.

Пока этот бюрократ магический меня до лесу назад, что перышко невесомое, волок, он всё под нос себе бубнил про «административный протокол» и «нарушение режима пограничной зоны, пункт 3, параграф 5».

А я бабку свою увидала, злющую да довольную.

Вот те на, она что, Кощея на сей раз позвала?

Охо-хошеньки, беда… Чувствует попа моя зуд от ивовых веточек, ох чует, аж побаливает.

— Благодарствую тебе за помощь-то твою посильную. Ты на внучечку мою зла не держи, мала она да глупа. Коль наказать надобно, то я и накажу, и уму-разуму поучу. А коль зол ты, что покликала, то меня и наказывай — я ж-то не доглядела дитятко свое, — заливается медовым соловьем ягунья.

Кощей молча меня в ступу — плюх! Бабка за плечи —

хвать! — и поминай как звали.

Несемся мы на всех скоростях в дом. Бабка глаза сщурила, губы в одну ниточку стянула… Ох, ждут меня разборы длинные да неутешные. Аха-хошеньки!

И Маковки не посмотрела, и на горох таки поставит…

Что за жизня у меня?

Эксперементы требуют жертв!

В Маковки так меня и не пускают, девки там уже замуж выходят, русалки токма сказки разные сказывают, но границу лесную зорко охраняют, меня со всех сторон в круговую обхаживают.

Теперешна бабка ни на минуту одну не оставляет.

Вон в прошлом году удумала к Заре гостевать отправится, а я туда не ногой более.

Мы с опрышкинской ягой не в ладах, дочь ее меня недолюбливает, без видимой на то причины. Противная потому-что, больно, зеленушка эта.

Так бабка моя че удумала — на всю неделю в дупло к Дубу мудрому засунула.

Еду и воду Баюн да Берегиня приносили, а Дуб что, он ниче, только книги читать заставлять и может, да стихами сказы сказывать. Нудотень!

Но Дуб не бабка, сна ему не надобно, еду и воду корнями берет, то в дупле меня крепко держал.

Коль от часу сильно разволнуюся да раскапризничаюся — на опушку гулять пущал, да веткой за пояс обматывал, а другой веткой еще и по плечу подталкивал, чтоб далеко не шастала. Никакого продыху от него.

Я даж подумывала, все же у Морицы, Зариной дочери прощенице просить, чтоб бабка меня в наступье с собой бра-

ла. Да только, невиноватая я, понимаете?

Морица сама в тот ручей упадала, а на меня наговоры строит, мол я ей про монетку золоченую на дне стремголового наплела, да что монетка желаница исполняет, вон она и влезла.

А если и подрасказала, так что тут теперь, во всех бедах меня виноватить? Кто сказал, что монетки не лежалось там? Никто! Как и что лежалось. А значит, факт отсутствия как и наличия не доказуем, воть!

Да и мелкая ягунья своими мозгами пораскинуть могла бы, не куринные же они у нее?

Ну право дело, кто без страховки в Стреминку лезет. Вот и унесло ее, да с горы водопадом сбросило. Там правда, русалки ухватили да дитятко мамке ревущее и орущее отволокли.

Ох и орала же бабка, а Заря только руки на груди сложив стояла и взглядом меня испепеляла, ох не взлюбила она меня после этого, ох невзлюбила.

— Прощение проси, окаянная! - требует бабка моя.

— А коль вины за собою не ощущаю, то за что просить то?

— Ах ты иродье отродье, а кто Морице в уши наклал да подначивал? - кричит Яга, аж бордовая сталася.

Да коль моя вина, что Морица уродливая уродилася? И что больше всего ей человечнее быть хочется? Вот и верит в ерунду всякую, да на все согласная, чтоб зелень свою с мордахи на белень изменить то.

Мамка у ягушки чистокровная яга, красивая статная. Сама высокая, коса русая толстая, двумя руками не ухватить. А папка леший.

Лешие, они как, каждый год на Дожинки в парубка перекидываются, да идут по селам урожай собирать помогают, чегось и в лес потом приносят - то малины сорт новый, то поросят месячных - чем люд платит, то и тащут.

Вот и поженихалися Яга с Лешим и выродилось у них непойми-что - кожа пятнами зелеными, вместо волос - мох, глазенки мамкены, да фигура папкина. Сама она щуплая да мелкая, зато в кроля на скаку перекинуться может, лешья кровь в ней громко звучит, но ее не радует.

Насмотрится на русалок, историй наслушается о богатырях да красавицах и давай реветь, что ликом не вышла.

С нее даже черти болотные смеются, ну вот я и помочь-то хотела, байку в надежду дать. Откудаво мне знать, что плавать она не умеет?

Дни долго тянулися, а бабки все не видано. Мне, к слову, уже четырнадцатый год пошел, а я все без парубка, так, глядишь и в старых девках остануся.

Яга только смеется, как я ей такое говариваю и в Маковки отпустить спрашиваюсь. Для ягунь возраста нет-то и вовсе, как силу свою бабка мне передаст, то возраст мой и остановится, а бабкин начнется.

У нас, у ягунь так заведено: старая силу с себя снимает да младшей передает. Пока сила в тебе не проснулась — рас-

тешь как обычный люд, а как примешь ее — так и стоишь в своих летах, покуда сама кому дальше не отдашь.

Как ритуал проведет, то в Явь уйти сможет. Тут как, если в Яви жить, то по человеческому веку, а если в Навь воротится, то снова век ее успокоится да становится.

Но она в путешествие кругосветное свентить хочет, с подруженцией своей Лярвой Микитишной. Да токма, говаривает, что не готова я еще силушку ее брать.

А я вон как готова! Четырнадцатый год уже готова, с рождения так сказать, самая готовая из всех готовых я!

Я ж не просто так на печи сижу, я теорию практикой подкрепляю, пока бабуся в лесу травы мучает.

Вон, на прошлой неделе заговор на «призыв лакомства» пробовала. Думала — конфеты в кулаке материализуются, ну на крайний случай пряник. Пряник не явился, зато у козла нашего, Бородавки, молоко пошло — густое, розовое и с привкусом барбариса.

Козел в шоке, бабушка в недоумении, а я-то знаю: это магия в кулаке просто направление перепутала, и в козла отрикошетила!

А на прошлой зорьке я Избу на «ускорение» уговаривала. Шептала ей слова заветные, пятки щекотала. Так она вместо того, чтоб побежать, так заикать начала, что из трубы дым кольцами пошел, а каша в чугунке в потолок выстрелила.

Но результат-то есть! Движение пошло! А бабка всё твердит: «Рано, Варя, рано». Сама не понимает, какой талант в

дупле маринует!

Ухухушечки, Дуб мне веткой книгу под самый нос тыкает, листьями над головой сердито шуршит. Эт он так говаривает, что уже полчаса я на картинку смотрю, а читать надобно.

А коли я глазами в сторону поведу — он листом по лбу — хлоп! Читай, мол.

Он еще как звезда вечерняя в небо подымется, начнет допрос мне устраивать, да допытывать, че я запомнила.

Я слово скажу — он веткой страницу перевернет. Я второе скажу — другой веткой уже на строчку тычет. Мол, не ври, девка, тут не так написано.

А я ничего не помню, у меня как в одно ухо влетело и из другого сразу выпорхнуло.

Вот и сижу по вечерам, глазенки пучу и вздыхаю тяжко так, жалко себя, ну прям очень.

Дуб потом тоже вздыхает и книгу пересказывать начинает, в конце всегда приговаривает:

— Вот так значит, Варвара-краса, глава эта кончается, зорька с тобой прощается, а сонька в гости заглядывается.

Значится это, что спать пора укладываться, то я перинку сбиваю, вздохами отчаянными сопровождаю и на бочке в одеялоко укутываюся, да о будущем своем мечтаю.

О парубке славном, что в лесу заблукает, меня увидает и влюбится, чтоб токма на меня смотреть и мог, и токма только со мной ему хорошо и счастливо было.

Высокий такой, плечистый, волосы русые, глаза ясные, а

на поясе нож добрый висит. Может, и коня у него будет — вороного, чтоб грива по ветру летела.

Увидит он меня, вздохнет тяжко и скажет:

— Ах ты ж, краса лесная…

И будем вместе мы дела воротить да проворачивать.

— Эхххххх…

На пятый день от начала, подсунул мне мой деревянный мучитель книженцию призабавную о зельях да настоях разных. Бабка моя много таких книг под половицей да в сундуках прятает, но Изба строго следит, чтоб и кончика носа просунуть я в них не могла.

— Рано тебе, Варя, к котлу подступатся, - воспитывает меня ягунья, - а то Избу мне еще подпалишь.

Изба как такое услыхала, что-то в крыше своей соломенной пораскинула, да книги все попрятала, только бабусе и поведала, где да как найти их.

И сколько б я ее не уговаривала, да вареньем двери и створки не намазывала, не соглашается противнючая мне ни одной рукописи выдать-то. Варенье жрет и не благодарит даже!

А Дуба видимо не проинформировали, вот он не знаючи, желанице мое и исполнил, а я ж не седнишняя, сразу быка за рога так сказать.

Давай ему сказывать, как практика мне нужна, да зельеце для бабкиного сна сварганить было бы замечательно. Бабка по ночам плохо спит, ей бы подуспокоится. И как счастлива

Зореслава Никифоровна будет, как вертатся время придет, а тут я обученная, да еще и с зельецем справным.

Повелся Дуб, зря, что мудрым кличут.

И приволокли мне белки чугунное корита заместь-то котла, да трав и ягод разных. Сижу я, веткой опоясанная, кончик языка выпячила, читаю да палкой березовой варево помешиваю.

Вариво кипит, бурлит, лихо его поджигает, да глазом своим одним на меня заглядывается.

Рецепты в книге скучные все какие-то, а душа моя, она ж эксперимента просит! Да и зелье сонное, слабое на вид — как водица из лужи.

Вот я и решила зверобой-травы щепотку докинуть для крепости, да перчика жгучего подсыпать для бодрости духа, да стручков с осины подварить, ну и разного по мелочи, что под руку подвернулось.

Варево моё в тот же миг обиженно хлюпнуло, посинело, как физиономия водяного с похмелья, и стало прозрачным — так что дно корытца видать. А потом как начало оно в лицо мне искрами фиолетовыми чихать!

Пузыри пошли крупные, лопались с противным «чпок!», и каждый — веришь ли? — на миг форму кошачьего уха принимал, прежде чем в пар превратиться.

Воздух вокруг корыта задрожал, запахло палёной шерстью и почему-то валерьянкой, да так густо, что у меня самой в носу засвербило.

Лихо единственный глаз прищурило, подальше отползло и веткой прикрылось — видать, даже ему, одноглазому, страшно стало от моих талантов.

А я палкой березовой мешаю, палка уже дымится, а я радуюсь — знатное, видать, средство выходит, ядрёное!

Надобно б на ком-то опробовать… Ток на ком?

Лиху все нипочем, Дуб коль и уснет, веткой меня намертво приколотит да еще и рассердится, может и корытцо отнять. Не пойдеть!

О, котик!

— Баюн, а Баюничка, как дела твои? Как поживается?

Баюн кот не глупый, подвох сразу учуял. Усы его в стороны разошлись, хвост трубой поднялся.

— Че удумала, девка? — строго спрашивает и глазки свои щурит.

— Да, ниче, скучилася за тобою токма, давно в гости не глядывал. А я тебе и крынку сметаны приготовила, и мяты свежий урожай вырастила…- заливаюсь соловьем я.

Кот сметану ой как любит, а мяту еще пуще жалует. Усы у него аж затрепетали, а хвост сам собой кругом пошел, будто отдельно от Кота думать начал.

Сразу подобрел, ко мне подошел, уши вперед навострил и морду любопытствующую в корыто засунул.

Любопытство не беда, но погубит в два щелчка!

— А что это у тебя тут такое, красивенькое?

— Так это зельеце я сварила, да не простое, как кто выпьет

- сразу в оборот станет, человеком целых два часа ходывать будет, - вещаю.

Щурится Баюн подозрительно, уши прижал, хвостом по земле постукивает — в сказ мой не уверовал.

— А разве зелье такое бывает?

— Конечно! - я аж подскакываю, - мне вон Дуб мудрый книгу специальную дал, а там и не такие встречаются, - заманиваю я своего подопытного.

Всем ведомо, что в Опрышках, барышня одна поживает и больно котяре нашей в сердце залегла, да он только котом и может что к ней ходить, да молча смотреть. Она Барсиком его кличет, да за ухом чешет. Узнал бы кто, засмеял.

Хотя, о чем эт я, знают все. Я лично всему лесу сказы эти сказывала, после того как Кот меня бабке на границе сдал. У мышей его компромат выспросила да сорокой по всему лесу разнесла.

Кличут его за глаза - Барсиком да посмеиваются. В глаза такое не скажешь, страшный он, как гневается.

Но я ж тогда совсем мелочью пузатой была, и бабка на защиту стала, вот он пощипел, пощипел, да и плюнул.

Но с тех пор знамо мне, что ох как ему в человека перекидываться хочется-то.

Он по этому поводу, даже с Лешим нашим повздорился.

Они на купалу как то валерианы отстоянной напробывалися, да песни выть на луну стали, так что сельские девки, венки похватали да по домам попрятался. А как навылися

да напелися, о любовях своих речь держали да и рассорилися.

Кот опасливо принухивается.

— Так что, попробуешь - заискивающе спрашиваю я.

— Ну только ради научного просвещения тебя неведущей - горделиво заявляет лохматый, а лапы сами уже аж подплясывают.

Ну я с листика криничку сделала, да зачерпнула и Кота напоила. Думала, спать свалится, а он стоит на меня лупает и сна не в одном глазу не наблюдается.

— А когда действовать начнет? - взволновано спрашивает.

— Да вот, еще чуть-чуть и начнет - уверяю я.

И тут как начал Кот скакать да ором мартовским орать!

— Жжжеееет!!! Жжжеееетттт! Ты что, окаянная, наварила?!

Я в дупло сразу — шмыг!

А я что? Я ниче, одеялом по самые уши замоталась.

А Дуб, молодец, добрая душа, ветки в замок сложил, вход перекрыл, чтоб Баюн не добрался.

Снаружи только и слышно:

- Мяу-у-у! Памагите!!!!! Спасите!!!!!

От Кота уберег, а от бабки никто уберегти не способен.

Котяра плешивый, как скакать перестал, сразу к Яге отправился жалобу нести. Да не просто так, а завывая на ходу:

— Это что же делается, Зореслава Никифоровна?! Это ж

акт терроризма супротив ценного сотрудника пограничной службы! Я на неё иск подам! Лично Кощею в ноги паду, зафиксирую покущение на жизнь и здоровице мое, бесценное!

И пока по лесу шел, шерсть его осыпаться начала, и до Зариной избы он доплелся лысый весь, как колено бабкино.

Кот рыдает, требует «компенсацию за моральный ущерб в виде двух бочек отборных сливок», Морица гогочет, Заря книги тащит.

Три дня и три ночи они с бабусей зелья искали, да Кота молоком с медом и валерьяной отпаивали.

Еще три месяца опосля он новой шерстью обрастал да на глаза никому не попадался.

А меня теперь исключительно Варваром кличет, обиделся.

И чего, не понятно. У него вон новая шерсть красивее старой выросла, да густее и блестящее, все то в плюсе остался.

Меня бабка долго распинала, да сдалася, стала таки учить и зелья варить, и заговоры шептать, и тропки заповедные вызывать.

Говорит, что может как науку освою, да и подуспокоюся.

Ну не знаю, я и сейчас не буйная.

Наука ученая, а дух крученый

После того как Кот задом лысым на весь лес засветился, найти новых подопытных казалось почти невозможным. То и страдала я, вниманием и доверием обделенная.

Ягуня, как и обещалася, обученице мое начала.

Вот и скакала я по лесу, то иволгу разыскивала, то гусеницам дом новый выстраивала, то в пруду рыбу мирила. Все это, как говаривала бабуся, — наша вотчина и работа. Бо кто лес бережет? Яга да Леший.

Да токмо Леший больше по физической силе: где кусты посадить, куда волков отпустить, а где птицам зимовать. А мы — ссоры да споры решать, пропажи искать, да хвори разные вылечивать.

Так и скачем: то в ступе, то на метле, то тропы короткие заповедные открываем. Тут главное — на Навий Перекресток не натрапить. Пренеприятнейшая он сущность!

Я как-то раз спешила сильно, от Лешего скрыться, а то он злобствовал очень, я белкам нечаянно зелья в орехи подлила и у них хвосты из шерстяных в перьевые превратились.

Так вот, бежала я, под ноги не глядя и на него нечаянно ступила, так он, гад, меня прямо к шишакам в кубло закинул.

А те рады старатися: ветками дерутся, ржут и смеются. Меня за ногу подвесили так, что юбка весь обзор закрыла, внизу скачут, свои тонкие ручки-палочки переплетают и пе-

сенки похабные завывают:

"Ой, висит на дубе Варя,
Словно спелый помидор!
Пятки к небу, нос в угаре,
Навьим девкам — приговор!
Сарафан на уши съехал,
Труселя — лесной салют!
Шишакам одна потеха,
Лешим — праздничный уют!"

А я вишу, кровь в голову ударила, лицо красное, сама злющая, а спуститься не могу.

— Да чтоб вас короеды доели! — заорала я сверху. — Да чтоб вас дятел на зиму запас! Да чтоб вас Леший в компост перекопал! Чтоб вам мох в сапоги набился и до весны не высыпался!

И так обидненько мне сталося, так себя горемычную жалко, что аж слезы из глаз накапали. И в лужицу под головушкой моей образовалися.

Да мимо Кощей проходил. Остановился, костлявую руку ко лбу приложил, зажмурился на миг, будто не верил, что это снова я.

Всю эту картину маслом писанную увидал, повздыхал тяжко, нотацию всем почитал — минут на двадцать, про моральный облик лесного населения и недопустимость издевательства над практикантами.

Я, пока он меня отцеплял, всё за подол судорожно хвата-

лася, пыталася срам прикрыть да коленки свести. Стыдобища-то какая!

Уж лучше б бабуля на ступе прилетела и за уши оттаскала, чем перед этим ходячим кодексом в горошек светить.

Кощей же, не меняя каменного выражения лица, выудил из-за пазухи кусок свежей бересты и перо воронье.

— Так-так... — проскрипел он. — Нарушение общественного порядка, групповое хулиганство. Статья сорок два, параграф «Ы».

Он размашисто выписал штрафной талон и заставил каждого шишака — а их там штук семь было — подходить и ставить отпечаток лапы прямо внизу бересты. Те сопели, морщились, когти слюнявили, но подписывали — против Инспектора не попрёшь, он их вмиг в гербарий оформит.

Меня он на землю поставил, сарафанчик брезгливо отряхнул и бересту мне в руки сунул:

— Держи, Чудо в Перьях. Это твой исполнительный лист. Будут платить тебе три месяца по лукошку грибов да ягод раз в три дня «за причинение морального вреда и несанкционированную демонстрацию исподнего».

Я ж, как-никак, пострадавшая сторона!

Бересту к сердцу прижала, буркнула «благодарствую» и припустила к дому, моля Макошь, чтоб Кощей поскорее забыл цвет моих панталон.

Дома Яга встретила меня, подпирая бока скалкой. Увидав бересту со штрафными печатями, она только крякнула:

— Ишь, бюрократия... Скоро Кощей на каждый чих в лесу гербовую марку клеить заставит. Ну да ладно, раз уж ты у нас теперь «пострадавшая сторона», пора тебе пользу приносить. Будем учиться зубы заговаривать.

Я аж подпрыгнула:

— Да я и так могу!

— Я не про брехню твою девичью, — отрезала бабка. — Я про силу слова. Вон, гляди, Изба наша третий день на правую сваю припадает. Щепа ноет, венцы скрипят — кариес древесный подточил. А ну, подходи, ладонь к пазу прикладывай и шепчи, чтоб гниль вон вышла, а смола затянулася.

Изба, почуяв неладное, попыталась было отползти в малинник, но Яга свистнула, и курья нога застряла в коряге. Пришлось мне лезть под самое брюхо нашей недвижимости.

— Ну, миленькая... Ну, хорошая... — зашептала я, поглаживая шершавое бревно. — Зуб костяной, дух лесной, из десны в сосну, из сосны в труху... Тьфу!

То ли я слова перепутались, то ли у Избы на мою магию аллергия случилася, но вместо того, чтоб зажить, дом как чихнет!

Трубой бабахнуло, из окон пыль столбом, а меня отдачей прямо в лопухи впечатало. Зато скрип исчез. Правда, теперь Изба при каждом моем шаге начинает мелко подрагивать и нервно ставнями хлопать — видать, «заговорила» я её до икоты.

— Ладно, для первого раза сойдёт, — вздохнула Яга. —

Раз руку набила, дуй к Водяному на Чёрную Гать. Он оброк за водяные лилии задолжал, да еще и за аренду ручья три карася не донёс. Иди, Варвара, заговори ему зубы так, чтоб он сам всё вынес и еще сверху кувшинку на сдачу дал.

До Гати я добралася быстро. Водяной сидел на старой коряге, выковыривал тину из-под ногтей и выглядел подозрительно довольным.

— О, Варя! — забулькал он. — Слыхал про твои приключеница. Про труселя в цветочек и бересту кощееву. Весь лес гудит!

Я аж зубами скрипнула. Ну, Баюн, ну, хвост лысый, разнёс-таки! Все от мышей своих прознал, а те и рады стараться, ничего мимо носов их любопытствующих не проплывет.

— Ты мне зубы не заговаривай, Воденька, — важно произнесла я. — Я за оброком. Бабушка велела лилии собрать и карасей забрать. По-хорошему.

Водяной картинно вздохнул:

— Э-э, радость моя, опоздала ты. Я теперь в «льготной зоне» числюся. Кощей, когда шишаков штрафовал, сказал, что водные ресурсы под особой опекой. Налоговые каникулы у меня! Постановление кощеевского лесного казначейства! — важно добавил он и даже пузо выпятил.

Водяной еще тот жук-сказочник, хитро прищурился, уверившийся, что я сейчас развернусь и уйду. Но не на ту напал! Я же теперь «ученая».

Подошла я к самой кромке воды и начала шептать:

— У воды зубов нет, а у лыка — есть... Будет карась не жирным, а кусачим. Заговариваю я десну водяную, чтоб ныла она от каждого слова вранья!

Водяной сначала усмехнулся, а потом вдруг за щеку схватился.

— Ой! Свербит!

— Это совесть твоя кариозная проснулася! Либо лилии, либо будет у тя челюсть ныть, пока Чёрная Гать в пустыню не превратится!

— Ой-ой-ой! — запричитал Водяной. — Варя, деточка, побойся Марры! Зуб же не казенный!

Я замерла, палец вверх подняла, как бабка делает. Внутри всё ликовало: работает!

— Ну так что там с оброком? Карасей несем-с или челюсть и дальше полировать будем?

Водяной зыркнул на меня исподлобья. Боль-то болью, а жадность — по расписанию.

— Три штуки — это ж грабеж! Давай так: одного карася даю и хвост от сома. Свежий! Вчера только сом об корягу почесался — и отвалилось.

Я только бровь нахмурила и шепнула в сторону воды:

— Зуб-зубок, костяной замок, повернись ключом, обернись огнем...

Водяной аж подпрыгнул в воде. Как бы полные трусы золота не навалил со страху.

— А-а-а! Погоди! Ладно, два карася! Но лилии — это ж

предмет роскоши! Давай я тебе ряски отборной отсыплю? Ее знаешь как Баюн хрумать полюбляет!

— Баюн твою ряску тебе же за шиворот и запихает! — отрезала я. — Три карася. И лилии. Белые. Крупные. Иначе я тебе еще и уши заговорю — будешь до конца века только кваканье слышать в стерео-звуке!

Водяной картинно вздохнул. Нырнул под корягу и вынырнул с сеткой.

В ней бились три карася — жирные, бока золотом отливают. И охапку лилий белоснежных на берег выплеснул.

— На! — буркнул мокрый хозяин. — А заклятье-то... заклятье сними, иродье ты семя!

Я руками над его лицом поводила, слова невнятные пошептала и щелкнула пальцами. Водяной челюстью подвигал и облегченно выдохнул:

— Ушло... Ох, Варвара, далеко пойдешь. Ежели по дороге в деготь не вляпаешься.

Домой я летела, едва земли касаясь. В сетке три карася бились, да как-то странно — поскуливали, будто щенки некормленые. Но в голове созрел План. Гениальный!

Раз я Водяного «сделала», значит, и бабулю заговорю — чтоб она подобрела и на Купальскую ночь в Маковки отпустила. К русалкам, к кострам, к парням в вышиванных сорочках!

В избу ввалилася гордая:

— Бабушка! Принимай оброк!

Яга к сетке подошла, а караси как хвостами замолотят и хором:

— Тяв! Тяв-тяв! Ррр-гав!

Баюн с печи комом скатился, уши прижал:

— Это что за ихтиандры бешеные?!

— Это... побочный эффект научного прогресса, — буркнула я, а сама пальцы крестиком переплетаю.

Бабка за лилии взялася, а я момент поймала, глаза зажмурила и давай шептать:

— Зуб на полку, бабку в щелку... ножки в пляс, воля в глаз! Отпусти внучку в Явь, всю суровость поубавь! Лети, воля, за порог, открывай сто дорог!

Хорошо заговорила. Мощно. Только, видать, про «сто дорог» было лишним...

Бабушка замерла. Глаза у неё вспыхнули лихорадочным блеском! Она лилии в кастрюлю бросила и как припустит в светлицу!

— Кругосветка! — заорала она на весь лес. — Лярва! Лярва Микитишна, заводи ступу! Сбылося! Душа простора просит!

Я рот открыла:

— Бабуль, ты чего? Я ж про Маковки...

— Какие Маковки, дитятко?! Мир велик! Всё, Варвара, оставляю тебя за главную. Караси вон свидетели, что в силу ты вошла, так что лес на тебе. Кощею отчеты сдавай, Баюна сметаной корми.

Тут в окно ступа влетела ржавая, а в ней Лярва Микитишна сидит в модных очках.

— Зореслава! Летим в Шамбалу через Париж?

— Летим! — Бабка чмокнула меня в макушку и обернулася:

— Ты не скучай! Я тебе в «Лесограм» фотки слать буду. И в «Навь-чат» — там фильтры классные. Гляди в оба, сообщения не проспи!

И свистнули... Только дым от ступ и остался.

Стою я посередь Избы. В сетке лают караси. На печи рыдает кот.

На столе бабушкин навифон — старая береста с магической подсветкой — мелко завибрировал.

Уведомления посыпались одно за другим: «Лярва_Никитишна добавила вас в чат "Навьи бабки идут в отрыв"», следом в «Телегриме» пискнул канал «Лесные сплетни», а в «ВКлубочке» бабуля уже статус сменила на «В активном поиске приключений на свои вторые девяносто лет».

Я пальцем по экрану провела, а там — первая фотка из «Навь-чата». Бабка с Лярвой на фоне пролетающего мимо Змея Горыныча селфи сделали: рожи смешные корчат, пальцами «викторию» показывают, и подпись: «Варя, котел не забудь почистить, а то «ВКлубочке» тебя забаню!».

Я вздохнула, а тут Изба как заскрипит! Требовательно так, утробно. Фундамент заурчал, пол под ногами заходил — это она напомнила, что время ужина пришло, а Печь не топлена,

дрова не колоты и крыша не чесана.

Баюн, сидевший на печи, спрыгнул на пол, подошел ко мне и лапой по колену постучал. Глаза грустные, голодные, а голос — холодный-холодный:

— Ну что, Варвар? Хозяйкой, значится, осталася? Доигралася в заговоры? Теперь сказывай: чем Избу кормить станешь, чтоб она нас ночью в болото не выкинула? И мне сметанки организуй, а то я на твоих карасей-собак заглядываться начну...

Я глянула на него, потом на сетку, где рыбы в три голоса выли на луну, потом на пустую бабкину лавку. И так мне вдруг зябко сталося, будто я не в родной Избе, а посреди ледяного поля стою. Лес-то за окном притих, затаился, ждет — справлюся я или завалю всё бабкино наследство в первый же вечер.

— Справлюся... — прошептала я сама себе, хотя коленки мелко задрожали. — Я ж... самая готовая.

Особенности национальной охоты за Избушкой

Первочки мои, денечки мои выдалися ужастными!

Прости, Ярило, что ворчу на зарю твою ясную, но сил моих девичьих более нету! От меня всем чего-то хотелося, чего-то требовалося, будто я не Яга в законе, а многофункциональный центр магических услуг для лесного отребья.

С заранья прибегали зайцы. Удумали, косые, что раз бабка в отпуске, так можно устав лесной в лопухи засунуть и анархию устраивать.

Прикатилися целой оравой, ушами семафорят, носами в крыльцо тычутся и морковных пирогов требуют! Да не простых, а чтоб «с пылу, с жару и с заговором на скоростной форсаж пяток».

— Обалдели, косые? — кричу им, высовываясь из окна. — У меня Изба с утра не кормлена, Баюн на печи голодный обморок имитирует, а я вам тут кулинарный мастер-класс устраивать стану? Ступайте в огород, грызите ботву натуральную, а не то я вас так заговорю — будете до осени задом наперед прыгать, нарушая все законы лесной гравитации!

А они мне:

— Ты, Варвара, не серчай, тебе по штатному расписанию положено лесную живность радовать, а то мы на тебя в

«ВКлубочке» коллективную жалобу накатаем!

Еле полотенцем заговоренным отмахалася, а они еще долго под окнами «морковный митинг» устраивали, пока Изба на них прицельно не чихнула.

Не успела я самовар раздуть, глядь — Водяной русалок прислал.

Явилися, девки мокрохвостые, сидят на пороге, чешую об косяки чешут и «капли для дезинфекции озер» требуют.

— Каки-таки капли, рыбоньки мои пушистые? — спрашиваюся, подбоченясь. — У вас там в озере вода такая, что в ней даже кикиморы в масках плавают, чтоб прыщами не пойти!

А они мне губы надули, пузыри пускают:

— Нам Водяной велел! Говорит, озера наши «зацвели» не по уставу, тина теперь не изумрудная, а какая-то «депрессивно-зеленая», имиджу лесному вредит. Дай, Варварушка, чегось в воду капнуть, чтоб у карасей глаза от чистоты слезилися!

— Ох, — отвечаю, — капли у меня только для глаз Баюна, чтоб он мышей в темноте лучше видел. Капну вам — будете по дну не плавать, а с открытыми глазами спать да глюки о море ловить. Оно вам надобно?

Едва выпроводила этих «эко-активисток», пообещав, что заговорю воду на «самоочищение по щучьему велению», хотя сама знала — там не заговоры нужны, а ведро хлорки и совесть Водяного.

А Изба-то, дама моя непостоянная, тоже подначивает!

Стоит, с лапы на лапу переминается, в бок меня бревном толкает. Ей, видите ли, скучно без бабкиных сказок, она теперь желает, чтоб я ей на ночь «Лесные сплетни» вслух читала, а не то она геопозицию по путеводному клубку сменит, крышу набок сдвинет и дождиком меня намочит.

Что это за кутюрма? Коль так при бабуле моей было? Не припомню такого бардака!

Всем дай, всех обслужи, всем капли да пироги организуй. И неважно им, что я токма силу приняла, что у меня котел еще не обкатан и заговоры иногда рикошетят в козла Бородавку.

Тяжкое бремя, ох тяжкое...

И целыми днями, без перерыва, чтоб чаечку ароматную похлебать да дух перевести, бегала я по оврагам, прыгала через коряги замшелые, скакала аки белка ошалелая — то отвары варила, то травы заветные в подолы собирала.

Думала, делом благим занимаюся, лесному люду подсобляю, да куды там!

Так нать, еще и недовольные находилися, рыло воротили да права качали!

У Змея нашего, Горыныча свет-трехголового, видишь ли, клыки от моего укрепляющего отвара не просто окрепли, а позеленели густо, аки мох на старом пне.

И эта Дива чешуйчатая не возжелал явится лично, чтоб в глаза мои честные поглядеть, а прислал своего стилиста —

Верлиоку одноглазого, специалиста по навийскому кудесничеству над ликом.

Приперся этот модник лесной, зеркальцем магическим помахивает, глазом своим единственным так и вращает, аки пушка на врага наставленная. И давай меня обвинять во всех грехах смертных да в попирании стандартов образа идола!

— Ты что же, — кричит, — Варвара, творишь? Ты сорвала Горынычу рекламный контракт с «Чешуя-Luxury»! У него завтра фотосессия для обложки «Вестника Нави», а его средняя голова теперя цветом тухлого болота улыбается! Это же удар по репутации, это же эстетический дефолт!

Да что греха таить, добавила я в тот отвар немного того-этого... приправу «Ехидство лесное» на кончике ножа. Ибо не стоило этой самой средней голове в приступах гогота кататься и слезами от радости захлебываться, когда я Избушку свою домой из оврага на карачках выманивала!

А ведь всё из-за него, хрыча огнедышащего!

Это ж Горыныч мне «Варенье Эксклюзивное» пригнал, соловьем заливался, мол, Изба счастлива будет и расцветет аки сад Ирийский. А я и повелась, дурында наивная, ставни да ступени ей понамазывала, добра этого не жалея, еще и на крышу пол бочонка вылила.

Изба-то зацвела… Да так, что превратилася в передвижную клумбу в состоянии нервного срыва!

Цветы, эти бешеные, мутанты флоры клубничной переваренной, из всех щелей поперли!

Избушка моя, бедненькая, ими и отплевывалася, и отбрыкивалася, а в конечном итоге от «цветочной лихорадки» совсем осердчала: наподдала мне ступенями под зад так, что я кубарем в крапиву улетала, и припустила в чащу на всех своих курьих скоростях.

Не догнать мне было окаянную! Метла-то со ступой внутри оставалися!

А этот ирод чешуйчатый на пригорке сидел, всеми тремя глотками ржал, только что на карачках от смеха не ползал, хвостом землю взбивая.

Я как Избу через три лога нашла, да внутрь зашла — думала, меня второй приступ хватит.

Дверь открыла, а оттуда с ором, как оголтелый, Баюн вылетел. Глаза по пятаку, хвост ершиком, а к груди бадью с карасями прижимает — спасал «братков» своих новых от растительного апокалипсиса.

Он с этими чешуйчатыми мутантами в последнее время сроднился, уже командам обучать начал, видать дрессировщик проснулся в нем.

Тожбо каждый утро теперешня, с самого позаранья, как токма Петух хрипотой своей лес осчастливит, под строевую всем домом просыпаемся:

— А ну, карасики, равняйсь! — орет Баюн, крадя последние минуты моего сна, — Голос!

Вот и сейчас, караси в бадье, вместо того чтоб прилично булькать, как положено рыбам, хором выдают:

— Буль-гав! Буль-тяв!

Да так яростно, что вода из шайки расплескивается. Аки волкодавы, только с жабрами.

Кот орет, Изба меня поленом по спине охаживает — мол, неси антидот, хозяйка, а то снесу яйцо прямо на Кощеев стол!

А у меня, сердешной, глаз левый уже дергается, еще чуть-чуть и уйду в лопухи прятатся. Бабулечка, спасииииии, помогиииии…

Я потом еще три дня эти цветочки бешеные по лесу отлавливала, сачком махала да на поля дальние перегоняла, чтоб они там сами себя опыляли. Лес, почитай, от биологической катастрофы спасала!

А как Кощей меня отчитывал!

Слова его костлявые прямо в душу впивалися, а писарь его навий, Серафим Егорович, всё протоколировал пером похрустывая. Потом мне еще и копию почтою прислали — мол, «Нарушение экологического баланса, параграф Щ-4».

Вурдалак-почтальон, правда, не сразу меня нащупал: Изба в рамках протеста локации меняла каждые пять минут, прыгала по кочкам, так что бедному упырю пришлось за нами по бурелому погоняться знатно, кроссовки казенные в клочья изорвать.

Ситуацию спас Кот.

Вернулся к вечеру, ведя на поводках карасей, парящих в водяных сферах (Водяной подсобил, чтоб рыбы не задох-

лись от возмущения), а также баночку «Варенья грибного» со штампом «Одобрено Комитетом по Делам Нежити при Навьем Совете» притащил.

Изба как банку увидала, сначала драпать намылилась — думала, опять «эксклюзив» Горынычев, — но Баюн не дурень, когтем крышку вскрыл... И мммм, какой аромат пошел! Настоящая лесная ностальгия!

Изба принюхалась, распробовала и теперь, зараза этакавая, ничего другого не приемлет. Требует, чтоб вся еда одобрена тем самым Комитетом была, иначе грозится уйти в болота к кикиморам на ПМЖ.

Так вот, коли б не звезда наша чешуйчатая, не было б у меня проблем таких масштабных. Вот я ему клыки-то и «укрепила» — исключительно в воспитательных целях!

Без вреда для здоровья, чисто для коррекции имиджа.

Я стою, черпаком прикрываюся, а Верлиока всё не унимается:

— Мы тебя засудим! Требуем компенсации в пять ведер жемчуга за моральный ущерб его стилю!

Это чучело одноглазое пером своим павлиньим в воздухе чертит, протоколы в «ВКлубочке» строчит и грозится, что выставит меня в «Лесограме» как главного врага лесного гламура.

— Да пиши ты хоть в «Телегрим» самому Черномору! — огрызнулась я, покрепче перехватывая черпак. — Скажи своему Идолу: пусть радуется, что я ему вместо зеленого

цвета клыков не наколдовала стразы со вкусом чеснока!

И пока спорились мы об эстетике улыбки и тонких нюансах драконьего гламура, оно, ирод модно-ориентированный, пару раз тянуло свои ручонки загребущие к моим полкам. Видите ли, не устраивает эту «тонкую душевную натуру» хаос в моей Избе!

— У тебя, Варвара, — визжит Верлиока, — тут не магическая лаборатория, а свалка неликвидных мухоморов! Где зонирование? Где цветовая палитра флаконов? Это же антитренд, это визуальное насилие!

Дело почти дошло до рукопашной и массового побоища, ведь я, устав от постоянных измывательств над моим личным порядком, таки схватилась за верную кочергу, решив поправить стилисту единственный глаз на затылок... как вдруг пожаловал товарищ Водяной.

Явился собственной зеленоватой субстанцией, просочившись под дверь вместе с тиной и запахом прелой ряски.

Ему срочно требовалось зелье от чесотки, да такое ядрёное, чтоб за один раз проняло!

Оказалось, этот старый греховодник решил омолодиться и залез в заповедную заводь, где лешие по весне свои бороды моют. А те, проказники, в воду столько пыльцы «чесоточного чистотела» натрясли, что бедный Водяной теперь чесался даже теми местами, где у него чешуи сроду не было.

— Ой, свербит! — булькал он, извиваясь ужом. — Варвара, спасай, а то я всего себя об коряги вычешу, одни щепки

останутся!

И в попытках встрять в наш душераздирающий вой, Водяной, сам того не желая, стал новой жертвой дизайна.

Я тяжело вздохнула и посмотрела на самовар.

Самовар посмотрел на меня.

Чай, кажется, снова отменяется.

Верлиока, не дремлющий ни на секунду даже под занесенной кочергой, приметил «фактурную личность». Не успел Водень и глазом моргнуть, как обзавелся модной шляпкой-котелком из склизких водорослей, что украшали его телеса. Стилист ловко пришпилил её прямо к его макушке, приговаривая:

— Какой этно-шик! Какой влажный финиш! Тебе не зелье нужно, а фотограф из «Трясина-Style»!

И вот уже Водяной, забыв про чесотку, отбивается от горе-стилиста, пытаясь не то утопить его в ближайшей кадке, не то превратить в элемент декора.

Как вдруг за ними всеми, аки тень черная, приходит уставший и злой Болотный Царь. Вид у него был такой, будто он всю ночь лично камыш по росту выстраивал.

Оказалось, у него на болоте — полномасштабная катастрофа. У всех лягушек разом животы повздувались, аки пузыри на луже в ливень. Стоит такой ор квакушек страдающих, что у бедного Царя корона на ушах подпрыгивает!

Видимо, наелись бедолаги тех самых «бешеных цветочков», что я по лесу перегоняла — те-то, видать, частично в

болото и спикировали, а лягушки по глупости их за мух заморских приняли.

— Варвара! — гремит Царь, подпирая бока корягой. — У меня в трясине хор Турецкого... ой, то есть хор Квакающего, в фальцет ушел! Либо давай антидот «Уголь-Болото-Актив», либо я твою Избу вместе с тобой и этим одноглазым павлином в топь заберу, будете там гусеницам имидж править!

И вот бегу я в закрома, в самые тёмные углы Избушки, искать то самое снадобье «От-Всего-И-Всегда», что бабуля на крайний случай за веником прятала.

А наверху тем временем — не то пир во время чумы, не то штурм крепости! Слышу такой грохот, будто Изба решила в чечётку удариться, да не на двух ногах, а на всех брёвнах сразу.

Влетаю обратно — а там «куча мала», да такая, что глаза на лоба повылазили!

Стилист наш, Верлиока окаянный, совсем с катушек съехал: решил Болотного Царя в ту самую шляпу из водорослей обрядить, что на Водяном красовалася. Самого же Водяного он в угол зажал, черпаком моим размахивает и обещает «мега-лук сезона», от которого «все кикиморы в обморок падут».

Изба моя, бедняжка, от такого неуважения к частной собственности совсем разнервничалась, всеми суставами запротестовалася! Брёвна скрипят, как несмазанные телеги, а сама она то и дело поджимает курьи ноги, норовит втянуть крыль-

цо внутрь, аки улитка рожки, чтоб не зашибли в пылу этой «высокой моды». Каждый раз, когда кто-то падает, Изба жалобно охкает половицами, будто ей на мозоль наступили.

А под столом — отдельный концерт!

Караси мои боевые, Баюном на разные штуки обученные, окончательно озверели. Они там не просто в бадье плавают, они «гарчат» на Верлиоку! Пытаются, видать, выть по-волчьи, утробно так, грозно, но получается у них только яростное «буль-гав-буль!», от которого брызги летят во все стороны.

Водяной орет дурным ором, пуская пузыри от возмущения; Болотный Царь булькает ругательства такие, что у Избы бревна покраснели.

И тут — апофеоз!

Посуда на столе, ставшем, от части, полем битвы, не выдержала. Сначала с обиженным звоном «дзынь!» покатилася бабкина любимая плошка, следом — пузатая крынка. И началось...

Бац! Трах! Тюх!

Осколки разлетаются со свистом, точно шрапнель.

Глиняные черепки чечетку по полу выстукивают, а Верлиока под этот аккомпанемент черпаком моим, как дирижерской палочкой, машет, прибивая шляпу к Царской макушке с сочным звуком «шлёп-чпок».

У меня из ушей пар повалил, аки из неисправного самовара, из глаз искры полетели, как от костра в Ипатьевскую

ночь. Я как вдохнула полной грудью, да как заору на самых высших частотах, что ультразвук бы позавидовал:

— ХВАТИТ! ИДИТЕ ВСЕ В БОЛОТО!

Тишина наступила такая звенящая, что слышно было, как на печи Баюн от страха икнул, а молоко в уцелевшей крынке с испугу в творог свернулось.

Но недолго музыка играла...

Водяной, осознав, куда я их послала, вдруг начал ржать — звук такой, будто пустая бочка по камням катится. Тычет мокрым пальцем в Болотного Царя:

— Слыхал, Царь-недотыкомка? Тебя домой, в тину, хозяйка выпроваживает! С вещами на выход, пока шляпа не присохла!

Болотяник от такого глумления взвыл, аки кот, которому хвост дверью прищемили. Глаза его тиной налились, корона съехала на бок.

— Ах так?! — проревел он, и от его голоса Изба со страху чуть яйцо не снесла. — Моё болото — моя крепость, а ты, жаба озерная, теперь там и капли чистой не увидишь! ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ!

Верлиока же, поправив свой единственный глаз, который теперь нервно дергался, демонстративно удалился. Дверь за ним захлопнулась с таким пафосным «хлоп!», что штукатурка с потолка посыпалась.

Вот те на... Стою я среди битых черепков, Изба мелко дрожит от страха, под столом лают караси, а два хозяина водных

просторов решили мировую войну прямо у меня на пороге развязать.

А ведь я только месяца три как на должность заступила...

Покаянный путь к Избушке под прицелом Царевны-Лягушки

Война между болотниками да водным народом возгорелася ярко, вспыхнула аки полымя в соломе сухой, да закончилася быстро — быстрее, чем Избушка моя успевает пятку куриную почесать.

В тот же день, как Царь Болотный в чувствах дверью моей гаркнул да восвояси убрался, кикиморы его верные да болотницы-бесстыдницы пакостить на озёра отправилися.

Натянули тины густой туда, нагнали лягушек, мною добросовестно вылеченных, да стадо целое комаров кровесосущих, размером с воробья доброго.

Ох и орали же русалки, в камышах путаяся!

А рыба бежала из эпицентра так резво, что только хвосты мельтешили, создавая цунами местного масштаба. Вода в озере враз стала грязная, вонючая, аки щи недельной давности.

Царь-то еще под землей туннели да ходы проделал, чтоб топь воду озёрную разбавила — трудился народ болотный рук не покладая, в едином порыве вредительства.

А поганки одноногие, те что кикиморы зелёные, токма из из ряски состряпанные, вокруг скакали, физиономии кривили и песенки гаденькие сочиняли:

У русалки хвост в навозе,
Водяной сидит в занозе!
Мы в озера плюх да плюх,
Чтоб озерный дух протух!
Да ба, и этого мало им показалося!

Глянула я в зеркальце магическое, пальцем по стеклу заветному провела, а там — матушка-заступница! весь «Телеграм» на ушах стоит, уведомления огненные так и сыплются, ажно рама серебряная греется да искрами вспыхивает.

Я как сплетни эти открыла, так враз поседела на обе косы. Читаю заголовки и чую — пора завещанице на ступу писать да с Избушкой прощатися.

Бросилася я, аки ушпаренная, прямо в гущу боя.

А эти яблочки порченные — болотники — ещё и шишиков позвали, духов лесных мелких.

Те, жуки пакостные, стали из леса грязью кидаться да мусором всяким. Весело им, иродам, ржут, орут, несусветицу несут и снаряды свои меткие метают.

Водяной как такое безобразие узрел, то совсем озлобился, очи его рыбьи кровью налилися, ряска на дыбы повскакивала да по телу запрыгала.

Стал он коряги вековые хватать да назад в болото возвращать, да так расстарался, что приложил не абы кого, а самого Царя Болотного, прямо в дерево впечатал, что аж ствол загудел, завозмущался.

Тут же прискакала Царевна-Лягушка, главный редактор

«Весника Нави». Стрелу-перо достала, чернильницу из мухомора открыла и давай во все паблики новости строчить: «Новая Яга войну начала!», «Выживет ли лес под управлением дилетантки?», «Кровавое воскресенье на Черной Гати: Варвара взирает да смеётся!».

А на прихвате у неё черт болотный, мелкий, зарисовки малюет, где я с черпаком стою в панталонах гороховых.

А моя вина-то в чем? Да ни в чем! Я ж этого не хотела, брякнула не подумав…

Пока бежала я, кочки попой считая да лапти сбивая, в канитель эту Леший впрягся.

Пытался он вояк помирить, «меморандум о ненападении» составить. А эти оголтелые его грязью закидали, водой тухлой облили да бороду заветную, мхом поросшую, в три руки общипали.

Прибежала я — а там…

Леший злой, аки медведь-шатун, шишаков с кикиморами от бороды отдирает. Водяной с русалками воду чистую в болота перегоняют — а полудницам-то в кустах от чистой воды смерть, они ж от этого вянут и в депрессию впадают! А есть на болоте кроме них нечего. Смотрю я, новый катаклизм грядет, а мы старому еще ворота не зачинили.

Болотники же наоборот, жижу черную в озера гонят. Камыши рядами выстраивают, корни им укрепляют, к новой земле привязывают.

Вой стоит, ор, кикиморы песни неприличные горланят,

лягушки с рыбами на палках дерутся — чисто гладиаторы чешуйчатые.

Я за голову хвать!

Слышать меня никто не желает, заговоры мои им всем до сосны высокой — рикошетят да в камыш улетают. Криком не перекричать. Уговорами не достучатся, разума не допросится.

Я меж снарядами из грязи скачу, уворачиваюсь: то кикиморе под зад дам, то Водяному оплеухой запущу, чтоб очухался.

Смотрю — Кощей в сторонке стоит, плащ свой чёрный поправляет, да так неодобрительно головой покачивает. А писарь его, Серафим Егорович, рядом перышком скрипит — всё строчит, да строчит в «Дело 613».

Я аж побелела вся, поджилки затряслися — точно теперь бабуле доложат, до самой косточки всё распишут, ежели та сама ещё в «Телегриме» не вычитала.

Стоило об этом подумать, как — дзынь!

В навийском чате уведомление огненное прилетело. Глянула я в зеркальце — а там от бабки сообщение капсом, ажно стекло треснуло:

«ВАРВАРА! Что у тебя деется, ирод ты в сарафане?! Ты что, оголтелая, сотворила? Ты что там вытворила?!

Да ты еще и меня заговорить посмела, поганка ты недогрызаная?! Немедля выезжаю домой! Жди, порюхаю так, что коса отвалится!»

Охохошечки... видно, заговор мой подистончился. Влетит мне по самое первое число, по самую маковку. Тут еще и в затылок комком грязи прилетело — хрясь! Я от обиды и страха чуть не разрыдалась прямо в тину.

И вдруг... как рявкнет кто-то! Как гавкнет басом неземным! Все враз и замолкли.

Головы опасливо так повернули, а там — мама дорогая! Баюн в боевой стойке.

В раз десять вырос, спину выгнул — не кот, а тигр саблезубый из преисподней. Клыки выставил, глаза красным пламенем горят, шерсть дыбом стоит, аки иглы у ежа. И орет голосом таким утробным, что вода в озере сама собой подниматься начала, извиняться и в положенные берега переправлятся.

А рядом — караси на плавники встали, зубы в оскале обнажили, жабрами яростно шевелят, только команды «Фас!» дожидаются.

Рявкнул Баюн напоследок так, что у Водяного чешуя дыбом встала, русалки хвосты поджали, а Царь Болотный в тину по самые уши ввинтился.

Стоял Кот — гора меховая, очи рубинами полыхают, когти аки сабли турецкие землю роют. Страх и трепет лесной!

Сразу все распри свои забыли! По домам все убралися быстро, будто и не было тут войны никакой.

И вдруг… Кхы-кхы-кхы!

Всю эту мощь эпическую сцену кашель сухой, надрывный

развеял. Баюн затрясся, сдуваясь на глазах, аки пузырь дырявый, и в мгновение ока превратился обратно в обычного кота, только шерсть во все стороны клочьями торчала.

— Ох, заржавело… — прохрипел он, хватаясь лапой за горло. — В силу-то полную вечность не входил без надобности было, ажно в грудине заскрежетало, сметаной несмазанное. Староват я для таких перформансов, Варвар, ох староват!

И хитро так на меня поглядывает, толь угощенице ждет, толь благодарности, что в ножки паду да всех чудес земных наобещаюся.

— Ох, Варвар, почем же мне шкуру твою спасать постоянно приходится? А благодарность то где — шиш да маленько.

— Ох, Баюнечка, коль не взришь ты в глаза мои благодарственные. У меня ж аж от восторга, лика твоего боевого, сердечко биться перестало, да замерло, и токма сейчас в пляс отправилося. Так велик ты был, так страшен, что даже чудо-юдо заморское перещеголял. - рассшаркиваюся я в лесте неприкрытой.

Котяра этот плешивый, ох как на лесть падок. Морду довольствующуюся состроил, на меня одобрительно поглядел да к карасям своим обернулся.

Те на пустые кусты скалятся, к атаке врага невидимого готовятся.

— Отставить, бойцы! — прикрикнул Баюн, хвостом об землю хлопнув. — Лютый, завали жабры, враг дезертиро-

вал! Шнырь, плавники опусти, а то заклинит — кверху пузом всплывешь. Зубастик, хватит чешуёй скрипеть, а то голова болью покроется! Всё, победили мы!

Караси, услышав имена свои заветные, мгновенно сдулись, пасть захлопнули и с тихим «бульк» попрыгали обратно в водяные сферы, только хвостами напоследок благодарно махнули.

— Пойду я, — бросил он через плечо. — Печка новостей ждет, да бока мои не лежанные еще, все бегаю, да дев непутевых из беды вытаскиваю.

И удалился, хвостом помахивая, Царь лесной, тьфу ты, самоназванный.

Кощей ко мне даже не подошел — только глянул так осудительно, и расствоpился в тумане вместе со своим писарем.

Шла я по бережку, ноги в тине волоча, да лапти свои сиротские, в бою потерянные, по одному собирая. Тяжелы были думы мои, аки чугунный котел, да только ноша в руках оказалась еще заковыристее.

Глянула я в левый лапоть — а там, зацепившися за лыко, торчит та самая стрела-перо Царевны-Лягушки. Острая, зараза, и всё еще чернилами ядовитыми плюется!

Видать, журналюга проклятая так торопилася пасквиль свой доцарапать, что инструмент в кустах и позатеряла. Только я руку протянула, чтоб сей «вещдок» изничтожить, как перо это... задергалося! Глянуло на меня невидимым глазом, пустило пузырь чернильный и давай из лаптя выковы-

риваться.

Прыг-скок по песочку, аки кузнечик ошалелый, и — фьють! — скрылося в камышах, торопяся к хозяйке докладывать, про новые сплетни, в перьях припрятанные.

— Ишь ты, репортерская недотыкомка! — свистнула я вослед, да только силы кончилися за канцелярией бегать.

А на подоле сарафана моего заветного, бабулей подаренного, красовалось пятно чернильное, прощальный подарочек так сказать, памятный. Липкое, зараза, синее с искрами.

И что бы вы думали? Оно не просто не отстирывалося, как бы я его в водице не полоскала, да не мучала — оно жило!

Стоило мне на камень присесть, как пятно это начало медленно переползать с подола на корягу, почуяв родную стихию. Перетекло, обернулося синим слизнем и, ехидно пискнув, скрылося в высокой траве.

Ну хоть в цветочки не обратилося и на том спасибо, так сказать.

А впереди Избушка встречает, половицами сочувственно поскрипывает, да только мне от этого не легче. Бабуля-то уже в пути...

Шепот корней и золото Нави: Таинство великого перехода

Бабка прискакала, аки ракета на магическом ускорении!

Не успела я и «ой» сказать, как она за скалку заветную хвать — да давай меня по горнице гнать! А я бегу, дороги не разбирая, голову прижимая, да к Макоши и Берегине взывая.

По лесу скачу, за ветки цепляются. Изба сзади квохчет, Ягу нагнать пытается. Да хто ж ее окаянную, да обозленную догнать способен?

Вот и я, что заяц, глазенки вылупила и скачу так, что дыхалка давно сдалася, попрощалася и с Избой осталася.

Благо, Берегиня на зов явилася быстро: бабку угомонила, скалку из рук выудила да в дом свой светлый отвела. Усадила за стол, чаем с липовым цветом потчевать начала, пока у Зореславы Никифоровны пар из ноздрей идти не перестал. А как приутихла грозная Яга, послала за мной Мышку-Нарушку.

Нарушка та — у мышей Баюновых самая главная. Кот наш, правду сказать, дико злится, когда она Берегине угождает, но поделать ничего не может — долг чести!

Давно то было, когда Баюн еще по полям людским ходывал да мужиков пугивал. Нашел он её, кроху серую, с хво-

стом отрубленным — от зверств мальчишеских пострадавшую. И жалко коту мышь мелкую стало.

Он ведь только с виду людоед да злыдень, а в душе — добряк, всех обездоленных пригревает, в дом тараканит да в усы мурчит.

Принес он её в зубах в Избу, да бабка моя тогда строптивая была, больно правильная:

— Не бывать, — кричит, — грызунам в магическом чертоге!

А Берегиня, душа светлая, наоборот — выходить да откормить снарядилася. Нарушка же, как на четыре лапы встала, спасителя своего благодарить взялася: родичей да друзей с полей покликала, и обзавелся Котяра армией шпионской.

Только иногда мышь и к Берегине захаживает, поручница мелкие исполняет, да новости на хвосте заносит.

Сидим с Ягуньей за столом, тяжко обе вздыхаем. Успокоилась Зореслава, да унялася, но губы все еще ниткой держит, внутри костерцом догорает.

— Ну всё ж хорошо, бабулечка, не серчай, — уговариваю я, в глаза заглядывая. — Откудова мне знать-то всё? А тебя я ж не специально заговорила! Я только в Маковки сбегать хотела по делу девичьему, а вон оно как вышло... Ты лучше мне фоточку из Египта еще раз покажи, а то я в «Лесограме» из-за помех навийских не разглядела.

Бабка глаза сузила, молнии мечет, да тут Берегиня на помощь пришла:

— А и вправду, Зореслава Никифоровна, и мне покажи! Расскажи, как там, за тридевять земель, отдых твой проистекал?

Смотрю — сдулася бабка, гнев на милость сменила. Достала свой «Навифон» последней модели в золочёном корпусе да давай стопятьсот фоток показывать.

А бабка-то она мне только по статусу!

Сидит передо мной дама лет сорока, очи черные огнем горят, волосы волнами каштановыми чуть ли не до пят стелются. Талия тонкая, нос остренький, а скулы такие — ух! порезаться можно, коли долго рассматривать. Настоящая королева Нави, а не пенсионерка на завалинке.

— Ой, девки, что там было! — запричитала Зореслава, листая экран. — Подлетаю я, значит, к Сфинксу. А он, ирод каменный, как меня завидел, глазами заморгал да загадку свою вековую завел. А я ему: «Слышь, щебень египетский, я сама из отдела загадок и галлюцинаций! Либо парковку для ступы освобождай, либо я тебе нос окончательно отколупаю!». Так он, верите ли, так икнул, что у туристов панамки поотлетали, и замолчал на три дня. А Анубис-то, песья голова, всё за мной бегал, селфи просил для своего паблика «Загробный Мир 24/7». Еле отмахалася веером!

— Да что Сфинкс! — Зореслава Никифоровна прихлебнула чаю и кокетливо поправила каштановую волну волос. — Вы бы видели, девки, что там у подножия пирамид творилося! Я-то думала, слетаю по-тихому, песочек целебный

для суставов соберу, в Ниле пятки помочу, с Лярвой грязьки домой затарим... А там — молодики местные, загорелые да зубастые, проходу не дают!

Она хитро прищурилась на экран «Навифона», а там фото - какой-то статный египтянин в белых одеждах пытается приобнять нашу Ягу-ягодку на фоне заката.

— Этот вот, Рамзес тринадцатый, не меньше, — хмыкнула бабуля, — всё за ступой моей бегал. Думал, видать, что это новый концепт-кар от ихних арабских шейхов. Цветы охапками таскал — лотосы, лилии, ажно в ступе чихать начала! А один так и вовсе, пал на колени прямо в песок, очи свои подвел чернее моих и запел на ихнем: «О, госпожа Луна, о, царица севера, оставайся у нас, будешь верховной жрицей в храме Исиды, будем тебе подношения из фиников и папируса приносить!».

Я аж чаем поперхнулась:

— И что ты, бабулечка? Неужто не дрогнуло сердечко?

Ягуся только фыркнула:

— Дрогнуло? Варенька, я ему так и сказала: «Милок, у меня в лесу Избушка на курьих ножках, Кот Баюн со скверным характером и внучка-поганка недогрызанная, которая то лес подожжет, то болото вспенит. Твои финики против моих соленых груздей — тьфу, баловство одно!». Да и жрицей быть — скукота. Это ж каждый день в кадило дуть да обряды по расписанию проводить. А я — вольная птица, куда помело повернуло, там и резиденция!

Берегиня только головой качала, посмеиваясь:

— Ох, Зореслава, везде ты смуту в мужские сердца вносишь.

— Да ладно бы только сердца! — Бабуля перелистнула фото. — Один особо настырный, «визирь» недоделанный, решил меня на верблюде похитить. Я из лавки с сувенирами выхожу — а он меня под локоток и в седло! Ну, я долго думать не стала. Шепнула верблюду пару слов на нашем, навийском... Так этот горбатый так припустил, что визирь тот только чалму по дороге терял да кричал «Шайтан-баба!». А верблюд теперь, говорят, до сих пор на чистом старославянском по ночам матерится и в сторону севера поклоны бьет.

Мы с Берегиней зашлись таким смехом, что Мышка-Нарушка от испуга под блюдце забилась.

— Так что, девки, — говаривает бабуся-ягуся, — молодики — они и в Африке молодики. Красивые, а толку чуть. Нашим-то лешим да водяным хоть объяснять не надо, почему у меня в волосах мухоморы, а под кроватью череп светится. Своё — оно роднее, хоть и ворчит порой.

Она вдруг замолчала, посмотрела на меня серьезно, и в глазах её черных промелькнула такая теплая искра, что поняла я — простила. Совсем простила.

Побалакали, погалдели, да совет держали. Ягуся вздыхает да говаривает:

— Творишь ты, Варенька, да вытворяешь... Смуту наводишь по лесу да неприятности сеешь аки рожь по весне. Но

что дивно мне: Кощей весточек не слал и жалоб на тебя не катал. Кажись, помогать решился, а коли так — то оставайся ты как полноправная хозяйка. Завтра на Зорьке силу тебе окончательно передам, да лес в известность поставлю, чтоб слушалися та не брыкалися.

На том и порешили.

Едва край неба окрасился нежным розаном, а туман над рекой стал похож на парное молоко, вывела меня Зореслава Никифоровна на заповедную поляну, что за семь верст от Избушки скрыта. Там камни замшелые кругом стоят, а посередке — дуб-патриарх, такой древний, что, кажись, еще сотворение мира помнит.

Бабуля преобразилася вмиг. Скинула лапти модные, босой на росу ступила. Волосы её каштановые по траве расстелилися, очи черные в небо уставилися.

Берегиня рядом стояла, тишину храня, а из кустов Баюн со своей мышиной армией да карасями в сферах приглядывал — свидетели, стало быть.

Да главными свидками пни старые записалися, со всего леса стянулися, стоят кружочком, шепчутся, всю историю сотворения в памяти своей сохраняют.

— Становись, Варенька, напротив, — голос Яги зазвучал низко, аки гул земной. — Руки ладонями вверх тяни, к солнцу рождающемуся.

Взяла она нож костяной, черной луной освященный, да не меня резать стала, а воздух между нами крест-накрест рас-

секла. И почуяла я, как пространство задрожало, задышало, будто невидимая дверь в самую глубь Нави отворилася.

— Аз есмь Зореслава, рода Ягинь хранительница! — возгласила она, и птицы в лесу враз замолкли. — Силу свою, веками копленную, лесом дареную, костями предков скрепленную, передаю отроковице Варваре! Не по нужде, а по воле! Не в тягость, а в радость!

И тут началось...

Из пальцев бабушкиных потянулися тонкие золотистые нити, аки паутинка на бабьем лете. Заплясали они в воздухе, заискрилися, и стали в мои ладони впитываться.

Ох, и жарко же стало!

Будто кипяток по жилам пустили, а в голове — звон серебряный.

— Слушай Лес, Варвара! — шептала Зореслава, а очи её огнем горели. — Трава под ногой — твои нервы. Река в овраге — твоя кровь. Ветер в кронах — твоё дыхание. Отныне ты — хозяйка порога между светом и тенью!

Земля под нами дрогнула. Я ощутила, как корни деревьев глубоко под почвой шевельнулися, признавая новую власть. Птицы разом сорвалися с веток, закружилися над поляной огромным вихрем. Караси в своих сферах ажно из воды выпрыгивали, сальто крутили, а Баюн утробно заурчал, признавая силу.

В этот миг солнце первый луч из-за горизонта выплеснуло. Ударил он прямо в нас, сплавляя золото рассвета с маги-

ей Ягинь.

Я вскрикнула — не от боли, а от восторга дикого!

Чувствую: знаю теперь, о чем шепчется папоротник, слышу, как русалки на дне чешую чистят, вижу каждую тропку невидимую.

Зореслава Никифоровна вдруг пошатнулася, выдохнула облегченно. Лицо её осунулося на миг, но тут же светом наполнилося. Она подошла, обняла меня крепко, по волосам погладила.

— Ну всё, Варенька. Приняла ты ношу. Теперь ты — Яга в полную силу вошедшая, и родовой магией освещенная. Держи лес в строгости, но и в милости не отказывай. А Кощею... Кощею скажи, что если обижать будет — я и из Египта достану, ифрит ему в печень!

Обряд завершился. Лес выдохнул, туман рассеялся, а я стояла и чувствовала, как во мне пульсирует новая, огромная и мудрая Сила.

О том, как авторитет в ведре тонул

Миновало с той памятной Зорьки времячко, стукнуло мне восемнадцать годков.

Казалось бы — живи да радуйся! Лес, как должно, приутих, под коряги забился да взирает на меня с трепетом великим и почтением нескладным.

Баюн мурчит по первому требованию моему, болотники — морошку отборную в корзинках приносят, русалки — венки ивовые плетут да на порог подбрасывают... И даже Кощей, костлявая душа, жалобы строчить перестал.

Ох, как хотелось бы мне так сказ повести, да только правда-матка — она похлеще кикиморы кусается. Увы и ах!

— ВАРВАР! Ты не Варвара, ты — Варвар! — орёт Кот так, что у Избы ставни подпрыгивают. — Не Яга ты наследная, а бедствие сплошное, стихийное, ни в один заговор не вписанное!

А в горлице моей, ахи да охи, картина маслом нарисовывается, да больно краски жгучие получаются.

Кощей, великий навий инспектор и гроза тридевятых царств, сидит... в ведре с водой.

Сидит плотно, аки карась в банке, и очи его подозрительно слезятся, пока он пламя «попочное» тушит — видать, припекло знатно.

Домовой вокруг него юлой вьется, пряниками печеными

задабривает, извиняется за весь род мой, женский.

А тут еще и Гусь!

Явился, гаденыш крылатый, первый день в Избе порог топчет, а мнит из себя птицу важную, стратегического назначения — стоит на фоне да гогочет так ехидно, будто он тут главный продюсер этого действия-то.

Но погодите, люди добрые, да не судите строго!

Давайте-ка рванем на пару минут назад в прошлое. Должна же я объясниться, как так сталося, что доброму люду не в сказке сказать, ни пером описать.

Клянусь ступой и метлою: вся эта картина — чистая случайность, меня боком не касабельная и руками моими (почти) не сотворенная!

Так воть, заявился с утреца Кощей ко мне, аки гром среди ясного неба, и приволок... гуся.

Да не простого, а горластого, машущего крыльями так, будто он заветный пропеллер потерял.

Говаривает наш бессмертный, что гусь сей — не кто иной, как богатырь местный, Добрыня. Мол, пошёл сей муж славный ирода навьего бить да подвиги в трудовую книжку записывать.

Пришёл, ирода (коим Кощей по совместительству и подрабатывает) увидал, в позу боевую встал, заорал грозно, да так на кураже и обернулся гусем. То ли заклятие срикошетило, то ли богатырская удаль в перья ушла — наука сие замалчивает.

От наглости такой, гусиной да беспардонной, Инспектор наш навийский на пару минут дар речи втратил. Стоял, скулами хороводы выводил, а потом богатыря-переростка сцапал и ко мне в Избу поволок. Но начал, как всегда, не с «здрасте» и объяснений, а с протокольных обвинений.

— Яга Варвара! — гремит Кощей, глазами молнии мечет так, что занавески тлеть начинают. — Объяснитесь немедля, почему люд смертный по Нави шастает, аки в доме у себя?! С каких пор у нас проходной двор для пернатых витязей открылся?

Я на него гляжу, потом на гуся, снова на Кощея, и никак в разум не возьму: то ли у него переутомление на почве годового отчета, то ли я чего-то в этой жизни не понимаю.

— Вы это видите?! — закипает «уважаемый», ажно пар от макушки пошел.

— Ну, вижу, — протягиваю я, гуся критически осматривая. — Гусь хороший, упитанный, жирок под крыльями имеется. Но коли не больной он, то это вам, батенька, к Лешему надобно. Вам же, бюрократам магическим, порядки ведомы: куда живность определять — задача хозяина лесного. А я тут по части зелий да заговоров, а не птицефермы.

Растолковываю ему, как маленькому, и про себя вздыхаю: ох, не повезло же Велесу с наместником, совсем за бланками живую природу не видит...

У Кощея глаз левый подозрительно задергался, задышал он как-то странно, со свистом.

Не захворал ли часом? Или это в нем гнев праведный забродил?

— Может, чаю, многоуважаемый? — заботливо интересуюся, уже прикидывая, сколько заварки на такую ярость потребуется.

— ЭТО БОГАТЫРЬ! — рычит Кощей и тычет мне гусем прямо в лицо.

Перья во все стороны летят, птичка возмущенно крякает, а костлявый аж трясется и ярость его в воздухе звенит.

«Совсем бюрократ наш зарапортовался, — думаю я, — гуся от люда отличить не в силах. Видать, в Нави недостача кадрами сильная, вот и переработался, бедолага».

— Зверобойчика вам заварю, с валерьяночкой, — решаюся я и к самовару устремляюся, пока он птицей в меня кидаться не начал.

— БОГАТЫРЬ ДОБРЫНЯ! — вопит Кощей на всю избу, встряхивая несчастную птицу. — Скажи ей! А ну, подтверди статус!

И так он гусеныша за шею телепнул, что у того чуть душа ласты не склеила. Хрипит птаха бедная, брыкается лапами перепончатыми, а звук издать не может — шея-то пережата стальной хваткой бессмертного владыки.

— Да ты его пусти для начала, Кощеюшка, — подал голос из-за печки Баюн, лениво потягиваясь. — А то он уже птичий рай перед глазами видит, и с предками-гусями здоровается.

Это он нас о кощеевском приходе и предупредил.

Кот-то мой, едва завидев на горизонте знакомый костлявый силуэт, бежал карасей своих прятать со скоростью ошпаренной белки. А как иначе?

Инспектор наш еще прошлою весною в протоколе так и зафиксировал: «Рыбу зубастую, неопознанную, расколдовать до исходного состояния, а коли не получится — зажарить к чертям собачьим!».

Ибо, видите ли, создание новых сущностей проклятых по регламенту Нави не положено, а в графе «Водные биоресурсы» зубастые караси-охранники не значатся.

Вот Кот с меня первым делом обещанице и взял, торжественное да нерушимое: никаких расколдовательных попыток к его банде не предпринимать!

А теперь, как завидит Кощея, сразу братков своих чешуйчатых под печь задвигает, в самый темный угол, подальше от глаз ненужных.

Тяжело нынче быть заводчиком магической живности, когда у проверяющего в голове одни параграфы да инструкции.

С недавних пор сидят они под печью вдвоем с Домовым.

Это уже Баюн мне в лапу клялся, обещаньице давал: личность оного жильца не раскрывать, меня ни бабке Зореславе, ни лесу бдительному не сдавать.

А ведь какая незадача вышла!

Дело было по сезону, когда я морошку спелую собирала. Слышу вдруг — мухоморы под березой трясинушку мест-

ную обсуждают, да так рьяно, будто у них там симпозиум. Шепчутся, как топь молодца знатного впитывает, аки губка воду.

Да, вы верно догадались: нормальные грибы обычно помалкивают, и в тряпочку дышат. Но конкретно на этой полянке за пару месяцев до инцидентика я зельице экспериментальное опробовала — урожай грибной подстегнуть хотела.

Мухоморы-то для люда смертного ядовиты, а в Нави они и в порошки целебные надобны, и похлебка с них, ежели заговор знать, выходит густая да наваристая.

Похлебка, признаться, не вышла. Зато у моих красавцев меж белых горошинок глаза повылуплялися, рты зубастые пораскрывалися и голосок прорезался.

Вымахали гиганты знатные! Теперь они популяцию комариную прорежают (хруст на весь лес стоит) и сплетни лесные собирают, аки разведка заправская.

Ну, я как про молодца в беде услыхала, думала — всё! Судьба-матушка Макош смилостивилась, парубка статного ко мне послала, чтоб одиночество мое скрасить.

Сердце девичье екнуло, и я во весь опор на место происшествия поскакала. Откудого только прыти такой понабиралася.

Да вот только говорить мухоморы обучилися, а с пространственными понятиями у них пока туго.

Заместо парубка саженного обнаружила я в тине Нафаню

— домового крошечного. Цеплялся бедолага за веточку ивовую, из последних сил за жизнь боролся, а трясинушка то, его уже по самую подмышку засосала.

Вытянула я карапуза, историю его грустную выслушала, да и сжалилось сердечко моё — забрала сиротку под крыло Избушкино.

Домовые-то обычно с людом живут: по хозяйству помогают, деток качают да за скотиной пригляд ведут. Но в деревне Журавлинке, откудаво мой знакомец бежал, беда черная приключилась.

Повадилась туда Навка — девка водяная, злая да голодная. Они то как, ранее девицами красными по земле ходывали, да коль до свадьбы, утопала такая, то страшною бедою оборачивалася.

Стал этот дух неприкаянный люд полошить, страхи нагонять, да и нечистью мелкой, вроде домовых, не брезговала — жрала их, аки семечки.

Вот и бежал Нафаня, бедный, аж лаптями по росе сверкал, да впотьмах в трясину и встрял. Теперь вот под печью с карасями шепчется, от Кощея прячется.

За Журавлинку-то у нас Владислава Святославовна ответ держит, да дети её — Мира и Кузьма.

У нас, Ягинь, порядок строгий: в чужие дела да на чужие делянки без спросу не суемся, коли хозяева сами о помощи не кликнут.

Но с домовыми в Нави беда: зайти-то они к нам через по-

рог могут, а вот оставаться — закон не велит. Кощей за такое мигом депортацию оформит, да еще и Избу штрафами обложит за укрывательство «чуждых элементов».

Вот и приходится мне соседа нового под печью прятать, аккурат по соседству с карасями. Но Печка у меня — душа добрая, каменная, она всех приютит, обогреет и сажей не испачкает.

А уж Изба-то как счастлива была, когда Нафаня на пороге объявился! Прямо скрипела от восторга всеми бревнами.

Он же, кудесник маленький, за один световой день везде порядки навел: все ставни застарелые маслицем смазал (теперь не скрипят, а поют!), печку до белизны вычистил, пыль вековую из углов вымел… В общем, переделал всё то, до чего у меня последний год руки никак не доходили.

Даже Бородавка, после бани впервые в жизни его устроенной, признал в Нафане ценнейшего члена нашей команды.

Баюн, правда, поначалу ворчал сильно, усы топорщил, мол: «Мельтешит тут всякая мелюзга под лапами!». Но ради безопасности своих карасиков терпел, помалкивал.

А потом… а потом Нафаня ему в молоко новую грибную добавку подмешал — секретный рецепт из Журавлинки. Кот как распробовал этот «грибной латте», так сразу оттаял и полюбил Нафаню всем своим хищным сердцем.

Теперь они там внизу — лучшие друзья: Нафаня карасям сказки бает, а Баюн его от Кощея хвостом прикрывает.

Убедившись, что Нафаня с карасями затаились тише воды

ниже травы под печкой, Котяра мой решил, что пора и свои шерстяные копейки в наш светский диалог вставить.

Кощей гуся наконец-то отпустил. Бедная птица тяжело на лапы плюхнулася, крыльями замахала, приходя в себя, закряхтела по-стариковски и вдруг как выдаст басом человечьим:

— Богатырь я! Га-га-га! Кощея бить пришел, от чудища лесного род людской спасать! — и клювом так воинственно в сторону чудища того самого клацнул, будто сейчас его за пятку укусит.

— Вот те на! Галлюцинация пернатая, — выдал Кот, прижимая уши.

— О как! Дела-то какие… — многообещающе добавила я.

И оба мы, не сговариваясь, уставились на Кощея.

А «чудище лесное» (в лице глубоко оскорбленного Инспектора) руки на груди в железный замок сложило, на нас из-под лобья смотрит, ажно искры из глаз летят.

Зелье требует, да не абы какое, а для проклятого гуся целебное. По протоколу, видите ли, положено: расколдовать немедля, облик человеческий вернуть и депортировать витязя восвояси, пока он тут всю экосистему не переполошил.

— Ну, не знаю… — неуверенно тяну я, разглядывая Добрыню. — Я такого еще не делала. Одно дело — отвары от хворей лесных варить, и совсем другое — богатыря из гусиного состояния в вертикальное выводить. Тут же расчет массы нужен, плотность перьев и коэффициент геройства!

Кощей только вздохнул тяжело, так, что в груди у него кости загремели. Понял, видать, что деваться некуда — коли зелье эффекта не возымеет, будет у него в Нави пожизненно гусь-оппозиционер орать.

— Но попробую, — решилась я, поправляя фартук. — Принеси-ка мне, Баюнчик, котелок мой боевой, на три ведра, да книженцию ту, в коричневой обложечке, что на верхней полке под пучком сушеной болиголовы припрятана.

Как всё уготовили, да котел огромный в центре горницы установили — такой, чтоб Добрыню в нём целиком искупать можно было, — стали мы зелье варить-варивать.

Дым пошел сизый, с запахом медуницы и легким ароматом жареных семечек (видать, Баюн от себя чего-то втихую подкинул для «вкуса»).

А как кончили мы зелье варить, так гусь в котел лезть наотрез воспротивился. Видать, богатырское нутро почуяло, что депиляция в кипятке в его подвиги не вписывается. Поднялся такой крик, да хай, что перья по всей горнице поразлиталися!

Ловили мы этого Добрыню по Избе, аки вора на ярмарке: и за лапы перепончатые хватали, и за крылья маховые. Птица же летающе-прыгающей оказалася, по траектории непредсказуемой, уловить никак не смогли.

И вот, пока мы, аки полоумные скакали, за хвосты да подолы цепляясь, случилась беда: котел-то тяжеленный перевернули!

И надо же было такому статься — прямо на Кощея все варево неостывшее и выплеснулось. И уронился великий надзиратель навийский прямо в остатки магической жижи.

Разорался инспектор, распереживался на весь лес!

— Горю! — кричит. — Палюсь! Нарушение техники безопасности при исполнении!.

Баюн, недолго думая, подхватил бессмертного под локотки да в ведро с водой грязною и усадил с размаху. А ведро-то то самое, помойное — Нафаня поутру полы мыл, да в сумататохе убрать не успел.

Сидит теперь Кощей в ведре, аки лилия болотная, злющий — краше в гроб кладут. Дым от него валит сизый, густой да пахучий (зелье-то на мухоморах да зверобое было, спецэффекты соответствующие).

И в пылу боя этого мы, грешные, не углядели, как «нелегалов» своих вскрыли — схованку запечную разворотили вдребезги. Стоит Нафаня, тяжко вздыхает, лапкой заплатку на рубахе теребит.

Инспектор из ведра на него глазами молнии метает — протоколов в уме уже на три тома вперед строчит. А гусь-богатырь, паскуда, на балке под самой крышей восседает, чистит перья и смотрит на нас сверху вниз, аки судья на грешников. Да еще и ржет, ирод проклятущий.

И кажется — куда уж хуже? Ан неть, есть куда!

Тут Избушка моя, что сроду манерами не отличалася, такое учудила — у меня аж коса расплелася.

Резко так развернулася на курьих ножках, аж половицы хрустнули, бревнами своими серыми вдруг порозовела, будто её девичьим румянцем обдали. И давай... мурчать!

Да не как кошка, а как старый трактор в маю — утробно, с придыханием, так что посуда на полках заплясала.

— Совсем с ума сошла, окаянная?! — ахнула я.

А Изба, не слушая, нежно так из-под потолка соломенными прутиками, что из стрехи выбились, потянулась к ведру. И давай Кощея по волосикам его черненьким поглаживать, аки дитятко малое!

Пыль с него смахивает, солому в узел завязывает, ластится бревном к его мокрому плечу. В окнах стекла затуманились, сердечками запотели, а ставни захлопали ритмично — тук-тук, тук-тук — точь-точь как сердце влюбленное.

Кощей от такой ласки несанкционированной ажно икать перестал. Сидит, из ведра не шевелится, только прутик соломенный из глаза выковыривает.

— Похоже, Варвар, — прошептал Баюн, пятясь к печке, — у нас тут не только богатырь заколдованный. У нас тут у недвижимости весеннее обострение и гормональный сбой по всем венцам…

Изба моя, видать, окончательно возомнила себя молодухой на выданье. Мало ей было порозоветь венцами, так она ещё и голос подала. И это был не просто гул, от которого пятки чешутся, — нет, Изба запела.

По стенам пошел низкий, утробный вибрирующий звук —

скрип вековых бревен, медленно и тягуче складывающийся в некое подобие колыбельной.

Знаете, как звучит старый лес в бурю, когда сосны трутся друг о друга, только на этот раз в этом скрежете слышалась пугающая ласка. Хруст мха в пазах, постанывание сухих стропил и пощелкивание половиц сплетались в мелодию, от которой у Кощея, небось, кости в резонанс вошли.

Это было похоже на то, как если бы огромный каменный жернов решил промурлыкать сказку на ночь.

Изба не унималась. Она выводила свои деревянные рулады, ластилась к мокрому плечу Кощея углом.

Кощей, сидючи в ведре, в края его вцепившись, замер. На его лице отразилась такая гамма чувств, что впору было картину писать: «Безысходность глазами утопленной попки».

Тут было и запредельное удивление, и какое-то фаталистическое смирение — мол, падал в котёл, сижу в помоях, теперь меня ещё и дом гладит... хуже уже точно не будет.

Он попытался вернуть себе официальный вид, и заговорил дребезжащим от возмущения голосом:

— Варвара... прекратите это самоуправство! Я официально запрещаю вашей недвижимости проявлять ко мне чувства, не предусмотренные «Законом о неприкосновенности должностных лиц Нави»! Параграф двенадцатый, пункт бэ: «Контакт предметов интерьера с Инспектором допускается только в целях сидения или лежания последних!».

Он бросил на меня быстрый, затравленный взгляд, в ко-

тором на долю секунды промелькнуло что-то совсем не инспекторское — какая-то робкая надежда на спасение, которую он тут же прикрыл маской суровости.

Тут со стороны послышалось яростное сопение. Нафаня, наш маленький трудяга, более пряники инспектору в лицо не тыкал, а размахивая веником, аки мечом кладенцом выскочил на последнего.

Его маленькое личико покраснело от обиды. Он же Избу латал, ставни маслицем баловал, а она теперь перед этим костлявым в ведре выдрючивается!

— Ишь, выискался, жених недописанный! — пискнул домовенок, ревниво отпихивая веником соломенные прутики от Кощеевой головы. — Я ей и венец подправил, и полы намыл, а она к инспекторам ластится!

Изба на это заявление обиженно скрипнула половицей и так тряхнула углом, что Нафаньку кувырком под самую печь закинуло, а Кощей с ведра выбрался, вздохнул тяжко и по делам своим восвояси отправился, мокрой попой посвечивая, да ароматами заморскими пованивая, что даже мухи на лету в обморок падали.

Ушел-то он ушел, мокрый да вонючий, а вот что в рапорте напишет — бог весть. То ли помилует по старой памяти, прикрыв глаза на домового-нелегала, то ли через пару дней заявится при полном параде, чтоб предъявить мне сокрытие «чуждых элементов».

— Поживем — увидим, — пробормотала я, косясь на На-

фаню, который уже начал яростно затирать «кощеевы следы» на полу.

Гха-а-ллубушка и ржаной спецназ

На удивление, Кощей после того банного инцидента кровушку мою пить не стал — видать, помойный парфюм его деликатную натуру присмирил, в глубокую думу вогнавши.

Я, признаться, первые два дня даже уши навострила — ждала, когда из-за елки он выскочит с протоколом да обвинениями в покушении на должностную попку.

Ну нет, не видать витязя костяного.

Чего не скажешь о гусе.

Этот пернатый надоеда из меня за неделю все соки выпил, последние нервы на тетиву вымотал! А у меня, между прочим, нервы не казённые, по ведомости Нави не списываются.

Пернатый гаденыш всё истязается, требует, чтоб я его в человека обратно перекинула, заклиная всеми правдами и неправдами. Но что б я ни деяла, какие бы древние фолианты ни листала — толку чуть, одно расстройство да пыль на сарафане.

Станет Добрыня на пять минут молодцем — плечи саженная сажень, шея как ствол дубовый, а во взгляде... пустота идеальная, ни одной лишней мысли, чистое поле, где даже сорнякам расти лень.

Но стоит ему хоть капельку разозлиться или, не дай Макошь, чихнуть — всё! Прыг — и снова обернётся гусем. И кто его так крепенько проклял, а главное за что - большой

секретец!

Хотя, если подумать, за характер его богатырский — можно и без особых причин.

Ранее, ведьмы сельские разного чудились, но подобного эффекта не случалося. Они так, в основном, хвори заговаривают, да травками лечат.

Правда, пару годков тому в Опришки новую каргу на метле принесло. Страхолюдина редкостная и злющая, то Мориц говоривала, что с мамкой гнали они ее пару раз с лесу, так как живность вылавливала на ритуалы чтоб пустить.

Но Яги такого не позволяют. Это люд своих курей и петухов резать может, но в лесу, экосистема особенная, магическая и охранники строгие. Наших, навьих, трогать безнаказано никто не позволит.

То и обломалась злюка, подутихла, давно ничего с той стороны мне не слышалось.

Но кто-то Добрыню все же крепко проклял и накрепко заклял, никакого спасу нету.

Да и гусь-то не обычный, а какой-то ядрёный: грудь колесом, аж перья на пузе дыбом встают, крылья массивные, пудовые, будто он ими не по воздуху хлопал, а вековые дубы в лесу с корнем выкорчёвывал.

И походка сделалася такая вразвалочку, наглая, чисто запечный задира, что за семечки строго спрашивает и зыркает так, будто ты ему с прошлого сенокоса кринку сметаны задолжала.

Сразу видать — не птица божья, а вышибала подворья: лапы широко ставит, землю когтями загребает, а клюв держит так высоко, что того и гляди облако зацепит да порвёт.

И ладно бы просто ходил да важничал!

Так он же втемяшил себе в клюв, что раз в Избе поселился, то я теперь — его суженая-ряженая, самой судьбою к крылу приписанная.

Стал, ирод пернатый, по утрам «серенады» гоготать под окном, что даже Соловью-Разбойнику застыдобилось.

Выйдет Добрыня на крыльцо, грудь колесом выкатит, шею дугой выгнет и как даст басом, аж ставни дрожат:

— ГхА-А-А-Й ВЫ, ОЧИ МОИ ЯСНЫЕ, ВАРЮШЕНЬКА-ГхА-А-ЛУБУШКА!

ВЫЙДИ НА КРЫЛЕЧКО, ПРИМИ ГхА-А-РЯЧИЙ ПРИВЕТ ОТ СЕРДЦА МОЕГО БОГАТЫРСКОГО!

ГхА-А-РЦЕВАТЬ ПРЕД ТОБОЙ СТАНУ, ПОДВИГИ К ЛАПАМ ТВОИМ КЛАСТЬ ДА ГхА-А-ЛОВУШКУ ПРЕКЛОНЯТЬ!

НЕ ГУСЬ ПЕРЕД ТОБОЙ СТОИТЬ, А ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ, ЛЮБОВЬЮ ОШИБЛЕННЫЙ!

ГхА-А-Й-ДА СО МНОЙ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, КУДА КРЫЛЬЯ ГхА-А-ЛЯДЯТЬ!

У меня от этого «га-а-аканья» утробного не то что самовар трижды распаивался — у него крантик от страха отваливался, а молоко в погребе в творог от ужаса сворачивалося за секунду, и даже мухи на лету в обмороки падали, крылья

сложивши.

Стоит, злыдень пернатый, клюв к небу задрал и ждет, когда я к нему, аки верная зазноба, с поклоном выскочу.

Уверилась я тогда окончательно: замуж я больше не хочу. Особенно за тех, у кого бицепсы вместо мозгов, даже если они в перьях и с богатырской родословной.

Добрыня-то наш, хоть и в гусином теле томится, натуре своей богатырской не изменяет — всё силой меряется, всё норовит что-нибудь неподъемное сдвинуть.

Нафаня ему по доброте душевной (или чтоб делом занять, дабы не гоготал лишнего и Избу в грех не вгонял) соорудил во дворе потешноеристалище.

Так этот пернатый атлет теперь каждое утро начинает с «удалого зачина»: зацепится клювом за нижнюю балку забора и давай подтягиваться, крыльями себе помогая, аж перья во все стороны летят.

Или заставит Домового к лапам две чугунные сковородки привязать, и вышагивает по двору — икры качает, лапы в песок по самое не балуйся вминаются. Вид у него при этом максимально пафосный: взгляд суровый, направленный в светлое будущее, а вокруг — тишина, нарушаемая только скрипом чешуи на лапах да оханьем Нафани, который за сохранность посуды переживает.

А чтоб его пыл любовный унять да дистанцию соблюсти, я с Колобком на зорьке та сговорилася. Он ко мне за смазкой ржаной да пылью дорожной с заговором на трение прикаты-

вался.

То я, быстренько, его этим «маслицем» из редких кореньев натерла, молочком напоила, сметанки с собой наложила, мукички подсыпала, да и заговорила.

Так теперь, как только этот недожених клюв открывает, чтоб очередную порцию страсти выгоготать, Колобок включается по принципу самонаводящейся мины.

Сначала слышится тихое такое «шур-шур» по траве.

Потом «фр-р-р!».

И уже через секунду по двору летит румяный снаряд — боком сверкает, искры из камней выбивает, а сам орёт во всё тесто:

— ЦЕЛЬ ВИЖУ!

Добрыня даже «га» сказать не успевает.

БДЫЩ!

Колобок ему прямо в грудь.

Гусь — кувырк!

Перья — веером!

А Колобок, как ни в чём не бывало, делает круг почёта по двору, тормозит о крыльцо и докладывает деловито:

— Цель временно обезврежена. Но объект упрямый, рекомендую повторный заход.

Я, признаться, в первый раз чуть самовар не уронила.

Колобок теперь мой личный охранник, коли кто сунется без спросу и разрешеница, так его с ног и сбивает. А пока гость непрошенный ойкает да охает и я уже выхожу, карти-

ну оцениваю и решенице принимаю. А то взяли манеру тут, шастают всякие, а потом котлы со снадобьем пропадают.

Кощей правда не заявляется, я аж соскучилась, то чуть ли ни каждый день с протоколами прибегал, а это… замолк и не высовывается.

Изба моя, как заправская барышня, всё очи к лесу пучила да злыдня этого выглядала, быт под её крышей окончательно милитаризировался.

Нафаня от ревности заходится, тоже Инспектора выглядывает, да цели иные преследует.

Сговорился он с Баюном оборону держать, и врага к даме сердца своего не подпускать. А тот и рад старатся, как истинный дембель, занял стратегическую позицию на печи.

Лежит, пузо чешет, усом не ведет, только лениво лапой в сторону подпечка указывает — командует, значит, авторитетом давится. Гордится своей «армейкой», будто он лично этих карасей-мутантов из икры воспитывал, в штыковую водил.

А возглавил наш «подводный спецназ» Колобок.

Оказалось, у этого румяного стратега талант к командованию: он теперь карасей по бадьям строит, тактику засад разрабатывает. Но запросы у него при этом — закачаешься!

Раньше-то я думала — мука да смазка, а он теперь по утрам требует кашу овсяную, на молоке томлёную, и чаю черного с чабрецом.

Сидит на блюдце, аки интеллигент английский, крошки

не роняет и вежливо так Нафане кивает: «Будьте любезны, любезнейший, ещё кусочек сахара, а то караси на голодный желудок фланги путают».

Домовой наш совсем осунулся, в заботах извелся. С одной стороны — забор чинить, с другой — Избу обхаживать, которая на него и бревном не ведет.

Совет наш военный, шерстяно-хлебный постановил, что дому укрепленице в виде ловушек надобно. Я только головой качала, да не влазила. Чим бы дытя не тишилось, лишь бы не плакало.

Пусть позабавятся, лишь бы меня не трогали.

Так теперь, спецназ в виде Домового и Гуся «приветственный набор» сооружает: где-то доска «случайно» подпрыгивает, где-то ведро с липкой смолой на перевесе висит.

А если нежеланный гость порог переступит, караси из бадьи будут выскакивать и за пятки кусать, а сам Колобок на сверхзвуке рикошетить начнет.

Даже шишаков привлекли, партизаны мои, тепрь главное самой в подлянку не вскакнуть, да не пострадатся.

Ба кто пожаловал - Морица собственной персоной!

После пары попыток несанкционированного пролезания в Избу во время утреннего сна хозяйки оной (то бишь моего), лесная нечисть быстро поняла: режим сменился на штурмовой.

Теперь у нас тут не «милости просим», а зона повышенного риска для здоровья и хвостов.

Первыми на проверку попалися лисы, решившие по старой памяти подпечком поживиться. Но не тут-то было!

Шишаки, эти мелкие древесные партизаны, наплели из невидимой паутины таких растяжек, что рыжие кумушки в три погибели завязались, носом в лопухи уткнувшись.

А стоило им «мяу» сказать, как из бадьи вылетел наш подводный десант под предводительством Баюна.

Лютый лично вцепился главной лисе в хвост, так что та ажно взвыла на луну средь бела дня. Шнырь устроил такую водную дискотеку, мелькая плавниками как лезвиями, что у налетчиц в глазах зарябило, а Зубастик так яростно чешуёй скрипел, что лисы ушли с опалёнными хвостами (это уже Колобок на форсаже мимо пролетел) и стойким заиканием на тему рыбных блюд.

Водяному повезло ещё меньше. Этот пучеглазый решил

через забор перемахнуть, да не учёл богатырского рвения нашего пернатого.

Добрыня, как только увидел посягательство на суверенитет забора, выдал своё коронное «ГхА-А-А-Р-Р-Р!» и так приложил бедолагу чугунной сковородкой по мокрому затылку, что тот в грядку с хреном впечатался по самые перепонки.

Я, признаться, даже вмешиваться не стала.

Когда гусь со сковородой защищает границы двора — лучше не мешать государственной безопасности.

Теперь водяной щеголяет с бородой, в которую Нафаня лично колышки из забора вплёл — для памяти и назидания.

А Горынычу нашему вообще «сервис» по высшему разряду достался. Решил он сверху на крышу приземлиться, когтями солому попортить.

Но Колобок, смазанный ржаным маслом до зеркального блеска, выдал серию рикошетов «труба-забор-голова». Пока три головы Горыныча спорили, откуда прилетело, Шишаки засыпали змея заговорёнными шишками, а Баюн сверху так лапой пригрозил и утробно что-то проурчал, что Горыныч улетел с таким «маникюром», что три дня когти о скалы точил, стесняясь на глаза подданным показаться.

Нафаня чувствовал себя победителем армии посягателей на даму сердца его и жутко собой гордился. Ходил по двору с таким видом, будто лично выиграл три войны и одну осаду.

Воители мои ликовали!

Даже Пень один, древний писарь истории лесной, у калиточки моей присоседился, да втихаря новости в Лесные сплетни высылал — мол, у Яги ныне спецназ такой, что сам Кощей трижды подумает, прежде чем протокол принести.

Бабуся пару раз в гости заезжалась — на ступе своей пыль столбом поднимала, заставляя карасей в бадье по стойке «смирно» вытянуться. Привозила рахат-лукумов заморских, от которых во рту мёдом да далёкими странами пахнет так сладко, что аж зубы сводит.

На хозяйство моё поглядела, прищурившись: оценила и забор помятый, и ловушки Нафанины, и даже Добрыню, что со сковородками по двору вышагивал.

Кота Баюна за ухом почухала — тот аж глаза зажмурил, дембель недоделанный, всю суровость свою в момент растерял. Бородавке нашему травы заморской скормила.

Домовиком Нафаней довольная осталася — мол, крепкий мужик, оборону держит, Изба при нём не скрипит, да и чисто в светлице так, как от роду не бывало.

Покивала головой, рахат-лукумом на прощание хрустнула да назад к шейхам своим вернулася — инспектировать верблюдов да пески заговорённые. Токма и видели ее.

А тут на зорьке, ни с того ни с сего, слышу — ор во дворе стоит истошный, на все лады заливается. Удивилася я, подорвалася с перинки: кто это ещё такой неопытный да нежданный пожаловал, ловушки Нафанины пересчитывать?

Выскакиваю на крыльцо, а там картина маслом: Морица,

сестрица моя названая, по колена в навозе стоит, в яму, соломой прикрытую, вгатилася.

Ни туды, ни сюды, бедолаге, не двинутся, только зенками сверкает. А Колобок с Гусем на порожке сидят и ржут, окаянные. Хотя как тут не ржать? Я и сама прыснула, за косяк ухватившись.

Дочка Зарина-то как подросла! Волосики теперь не моховые, а травяные, сочные, до плеч свисают. Глаза большие, раскосые, разными радужками смотрят — один как изумруд лесной, другой как небо перед грозой.

Вытянулась, ладная стала, даже девушку напоминать начала. Пятна её прежние в узоры дивные вытянулись, татуировками лицо и руки украшают — тут явно без колдовства ягуниного не обошлось, тонкая работа, магическая.

Достали мы пострадавшую из западни, из ведра водой холодной окатили, чтоб навоз смыть, да вонь отбить.

Она стоит, губы насупила, глазёнки злющие сщурила, с неё ручьи текут да в землю впитываются.

— Я к тебе, Варвара, с новостями счастливыми летела, а ты!

— А что я? — плечами развожу. — Откудово мне знать было, что ты пожалуешь? Хоть бы тегешрамму с сорокой выслала или Вклубочке весточку сообщила. Я б тебя тогда со всем почетом и радушием встречала, карасей бы из бадьи во фрунт выстроила, а так — сама винная, под ноги смотреть надобно.

Стоит Морица, пыхтит, руки на груди скрестила, брови насупила — ну вылитая мамка! И так меня эта сцена насмешила, что я снова прыснула.

— Ладно, не злись, зелёнка моя. Видеть тебя рада, честно. Пойдем в дом, чаю заварю на семи травах да пирожными с мухоморами засахаренными накормлю.

Сладкое-то она с детства любит, перед предложеницем сердце её и растаяло. Сели в Избе, Нафаня засуетился, блюдечки подставляет.

— Ох, Варька, — говорит Морица, вгрызаясь в пирожное, — сидишь ты в захолустье своем и не ведаешь, что в мире-то творится! Русальчья неделя гредет, а за ней — КУПАЛА!

— Да толку-то? — тяжко вздыхаю я. — В Маковки на ярмарку мне всё равно не попасть. Силу я приняла, в Явь дорога закрытая теперешно.

— Нам — да, закрытая, — хитро прищурилась ягунья, — а люду к нам — открывается! Обряд один есть: как младшей из приемниц — то бишь тебе — восемнадцать лет стукнет, и силу яговскую она примет, так можем мы свою Навью Купальскую ночь устроить!

Я аж чаем поперхнулася.

— О, как! Так что ж, это меня все ждали?

— Тебя, — кивает сестрица. — Будем с русалками да мавками венки плести особые. В Стреминку лесную их пускать станем, а она желания наши в Явь отправлять. И коли венок твой добрый молодец в руки возьмет, то в тот же час в Навь

явится. Если по сердцу тебе станет — замуж пойдёшь. А коли нет — то в Лешака обратится!

На фоне внезапно и яростно зашипел Гусь. Видать, не понравилась Добрыне идея еще одним молодцем в доме обзавестись. Он аж крылья расправил, сковородки на лапах звякнули:

— ГхА-А-А-РЗОСТЬ! ГхА-А-НИТЕ ЕЁ!

Ой на Ивана, Ой на Купала...

Изба моя в те дни совсем голову потеряла: то на цыпочки вскочит, то крышей встряхнет, будто юбками многослойными шуршит. Трубу набок заломила, аки кокошник праздничный, и давай пыль из окон выбивать — да так яростно, будто перины к самой богатой свадьбе в Нави готовит.

А как же! Со всего лесу весточки полетели: Купала близко!

Моя «недвижимость» так предвкушением извелася, что у неё по всей соломенной крыше, прямо над причелками, цветы диковинные проросли.

Да не просто лютики какие, а огнецветы пахучие да вьюны лазоревые, что в такт её мыслям лепестками трепещут. Стоит, цветет, курьими лапами в песке перебирает, будто танцевать на зорьке собрается.

Морица у меня оставалася — готовиться, совещаться, да Стреминку обхаживать. Речушка наша, хоть и во все четыре стороны стелется, да к селищам людским вытекает, но только на моей части леса заводь есть широкая, зеркальная, да для дел наших магических самая удобствующая.

Стреминка-то — девка непростая: она не токма течет, она шепчется с камышами заговорёнными, сплетни из Яви в Навь перекатывает, а на перекатах их в пену взбивает, чтоб правда от кривды отсеялась.

В заводи моей вода густая, как парное молоко, и тихая — каждое слово, в Яви оброненное, сюда эхом доносится. Потому и девки все ко мне потянулись: тут река сама подскажет, где молодец ладный по берегу ходит, а где пустоцвет за сердце хватается.

Шумом и гомоном лес наполнился. Животинка местная помогать бросилася, всякие веточки заговорённые да цветочки редкие со всех чащ натаскивала.

На фоне суматохи этой важнейшей, воители мои оборону-то поослабили и сами скрываться предпочитали в кустах малиновых, аль за поленницей.

Поняли, сердешные: когда Изба ульем гудит, а ягуньи венки плетут, под настрой недружественный лучше не попадаться, а то и самого в гербарий засушат или к костру в качестве дров пристроят.

Добрыня наш, богатырь пернатый, даже «гхА-а-кать» перестал в полный голос — видать, смекнул, что его басовитые серенады сейчас в общую девичью симфонию не вписываются.

Стоит в тени старой ракиты, шею в плечи втянул и только тихонечко под нос клювом скрипит, аки старая телега, стараясь даже крылом лишний раз не хлопнуть, чтоб под горячую руку (или веник заговорённый) не попасть.

Колобок же проявил чудеса тактической выучки: закатился в самый дальний угол под лавку, запылился малость и притворился заскорузлым сухариком. Лежит, не дышит, глазю-

ки зажмурил — лишь бы его не выудили да не заставили венки лентами украшать или, чего доброго, в качестве подставки под ритуальный пирог использовать.

Даже Баюн, дембель наш усатый, с печи не слезает, хвост поджал и делает вид, что он — деталь интерьера, глубоко погружённая в медитацию на дырку в половице.

Мужчины, одним словом!

Как ловушки ставить — так герои, а как Купала на пороге — так «нас тут нет, мы - мебель».

Только Нафаня всё у печки вздыхал тяжко, да последней на судьбу горькую жаловался. Стоит, сердешный, угол печной ладошкой заскорузлой поглаживает, будто успокаивает буйную «невесту», а сам за крантик самовара мертвой хваткой держится, чтоб руки от обиды не дрожали.

— Печечка моя, родимая моя, ты токма глянь, че Изба-то удумала! — шептал он, бороду в кулак зажавши и на проросшие цветы косясь. — Изба-то... дура старая... ой, матушка, молодая-зелёная, совсем с петель долой сорвалася! Венок ей подавай! Заявила, дурында брёвенчатая, мол, дама она незамужняя, в самом соку, и тоже суженого кликать будет.

Он всхлипнул и прибавил, глядя на меня с такой тоской, будто я лично этот план по выданью недвижимости замуж утвердила:

— Это ж как слепо йтись надобно, чтоб счастья своего у носа не видывать, а за несчастьем в скачь уготовится?

А тут на те — ещё и Кощей заявился!

Явился, не запылился, свитком своим машет, явно очередной штраф за «нецелевое использование магии» выписать готовится.

У Нафани от такого стресса аж пар из носу пошёл, как из неисправного самовара. А Добрыня, себе тоже чего-то богатырского удумавши, рассшипелся, аки змей подколодный, и скалками кухонными размахался — мол, не пущу супостата, иль шагу более ступить, иль слово молвить!

Инспектор наш, натура крайне трепетная, явно сказать что-то хотел, рот уже открыл... но как картину эту дивную увидал, то й передумал!

Стоит перед ним Изба радостная, ставнями кокетливо хлопает, а крыша вся в огнецветах да вьюнах — как в веночке убранная. И давай эта махина перед ним в глубоком реверансе приседать, лапы в растопырку, брёвна скрипят от нежности.

Кощей аж костями звякнул от ужаса!

Картина маслецом нашему вниманию приудивительная нарисовалася: стоит он, бедолага, со своей бумажкой золотистенькой, тощий да официальный, а на него три тонны влюблённой древесины в цветочках заваливаются, объятий и вареница требуя.

Сразу смекнул бедолашный, что тут принудительной женитьбой на недвижимости попахиваеть, и ретировался со скоростью напуганного стрижа, только полы плаща свистнули.

Но не тут-то было!

Дама моя бревчатая, мозги её куриные, прелесть свою так просто упускать не сбиралася. Как вскочит на лапы свои мозолистые, как погонится за фигурой тёмною!

Нас всех из светлицы, как горох из стручка, на улицу повыбрасывала, забор многострадальный в щепки затоптала и летит за Кощеем на «крыльях любви», только камни из под лап да бревнышка, что искорки разлетаются!

Фундаментом кокетливо подпрыгивает, а из трубы сердечки дымные пускает, прицельно так, прямо инспектору в костлявый зад. На весь лес квохчет, признания любовные в вой-песню затягивает — натуральная невеста-цунами!

Я за ней, окаянной, припустила. Сила во мне бурлит, Навью подпитывается, ноги сами несут быстрее ветра. Угнаться-то угналась, а остановить эту гору влюблённую как?

Не долго думая, хватаю на бегу веток ивовых, узлами тайными их позавязываю, слово заговорённое на гибкую лозу шепчу да и арканом метаю!

Поймала-таки за причелины узорчатые! Аркан натянулся, заскрипел, а я в прыжке за трубу мертвой хваткой уцепилася. Сама на крыше болтаюся, дымом от сердечек кашляю, но держуся!

— Куда! — кричу. — Стой, дура деревянная! Раздавишь же счастье своё, одни пуговицы Кощеевские останутся!

А она, что бычок по весне брыкается, меня с крыши шандарахнула, но и я не первый день рожденная, ногами в зем-

лю вперлася, плечом о дуб столетний зацепилася для упору, обеими руками за лассо держу и так на неё рявкнула, что даже вороны в лесу поседели, с черных в белых перекинулися.

Сила в руках такая, что ивы в косы заплетаются, а Изба аж на дыбы встала, брыкается, но слово хозяйское — оно покрепче фундамента будет.

Полчаса бедолашную уговорами кормила, пока додому вертатся согласилася.

Пришли мы, а там Морица стоит посреди бардака, глазами лупает, ничегось понять не способная. В корзинке ягодки, в руках мяты пучек, а на лице интерес застывший.

Нафаня же проявил характер: губы надул, вещички свои нехитрые в узелок собрал и демонстративно ушёл жить в старое дырявое корыто под огромным лопухом у забора, рядом с Бородавкой приспособленным.

Сидит там, травинку жуёт и на весь лес заявляет, что с такими «легкомысленными и ветреными строениями» под одной крышей находиться более не намерен, ибо репутация домовика ему дороже сухого потолка.

— Всё! — кричит из-под лопуха. — Пущай теперь Кощей ей печь топит, коли она за ним так бегала! А я — вольный житель подзаборный!

Баюн же, времени даром не терял. Он раздобыл где-то огрызок карандаша и на куске бересты составлял подробную опись морального и, что важнее, сметанного ущерба.

Ходит вокруг фундамента, морду брезгливо кривит и

недвижимость мою в открытую отчитывает, тыкая когтистой лапой в каждую разбитую крынку:

— Ты погляди, махина ты неотесанная, че натворила! — шипит Кот. — Вот тут была сметана пятислойная, экспортная, от ягуниных коров. А теперь что? Пыль да черепки! Ты ж не Изба теперь, ты — катастрофа на курьих подпорках! Как ты в глаза карасикам смотреть будешь? Лютый со Шнырём в бадье от твоих прыжков морскую болезнь подхватили, Зубастик чешуёй от стресса облысел наполовину!

А та… Крышу понурила, цветы на соломе вмиг пожухли и свесились, будто сорняки позорные. Ставни скрипят жалобно, окна запотели, стоит и так тяжко вздыхает — из трубы аж сажа повалила, аки слёзы чёрные.

Так жалко её, бедолашную, сталося… А поделать то что? Где это видано, чтоб дом за Кощеем бегал, да в невесты напрашивался?

Через пару дней в светлицу нашу и остальные «пограничницы»-молодушки пожаловали. Со стороны Жмеринок примчалась Мира — эта девка легкая, аки пух одуванчиковый. Прилетела она не на ступе, а прямо на ветре запряженном, косы по небу распустив, а по пятам за ней кабан дикий бежал, верный аки пес.

Брата своего, Кузьму, на хозяйстве оставила, строго-настрого наказав за котами приглядывать. Молодец-то позже явится, финальные приготовления делывать, костры ладить да бревна таскать.

А с четвертой стороны, от глухих болот, что у села Затычки притаились, прибыла Ядвига.

Старшая она между нами по веку будет, да и по опыту, пожалуй. Дама строгая, в волосах тина речная узорами переплетена, а взгляд такой, что насквозь видит.

Ядвига только на Избу мою глянула, бровью сурово повела — и всё! Моя «невеста» бревничная мигом ставни перекошенные подобрала, цветы на крыше в идеальный порядок привела, пыль с крыльца сдула и даже вздыхать тише стала.

Зато голос у Ядвиги — заслушаешься! Как заведет русалочью заманилку, так даже пень столетний корнями из земли вырывается да в пляс пускается, а камни в реке плакать начинают.

Перво-наперво пошли мы росу собирать. Да не простую, а заповедную, что на полянах Сон-травы выпадает, когда луна еще с неба уйти не успела.

Ходили босые, подолы рубах высоко задрав, чтоб магия трав ног касалася, а подолы не мешали силу земную пить. В серебряные ковшики каждую каплю ловили бережно, а роса та — чистый хрусталь, холодная, аки звёздный свет, обжигающая ступни так, что по телу искры магические бегут.

Коли ею лицо умыть — чудо случается. Когда роса касается кожи, каждая капля вспыхивает на мгновение маленькой кометой, впитываясь прямо в поры и оставляя после себя сияние, которое даже в самых густых сумерках не гаснет.

Веснушки мои от такого умывания золотом засияли, буд-

то россыпь солнечных зайчиков на щеках застряла, а кожа стала нежнее лебяжьего пуха, прозрачная и свежая, как само утро.

А на заводи в это время Шнырь и Лютый стенали так, что камыши к воде пригибалися. Русалки да мавки , девки бедовые, их в оборот взяли накрепко: видать, решили, что боевой карась в хозяйстве лучше любого тритона.

— А ну, чешуйчатые, ныряйте глубже! Нам кувшинки надобны самые белые, с золотой сердцевиной! — командовала главная мавка, подгоняя пацанов хвостатых.

Шнырь только глаза выпучил, аки пуговицы на старом кафтане, когда его за плавник тащили в самую черную глубь. А как вынырнули, так одна из девок его и вовсе в косы свои зеленые попыталась вместо заколки приладить — стоит бедолага, плавниками сучит, из шевелюры русалочьей торчит и на весь лес немым укором отсвечивает.

Лютый же от возмущения чуть икру не вытряс!

Мало того, что его заставляли стебли зубами перекусывать, чтоб букеты для венков ладнее выходили, так он еще и проклятия на рыбьем языке такие булькал, от которых вода в заводи вокруг него закипать начинала мелкими пузырьками.

Грызет корень, а сам хвостом так лупит, что лягушки на берегу в обморок падают. Но делать-то нечего — этим не откажешь и не сбежишь. Догонят и так залюбят, что мир светом белым в черные пятна пойдеть.

Пока мы венки готовили да песни весенние запевали,

Тень Купальская — прозрачная, аки дым от костра, и зыбкая, как марево над болотом, — по углам шныряла. Она перемещалась бесшумно, едва касаясь половиц, и казалось, что сама темнота под её ногами сгущается и ластится.

Заглянет в кадушку, склонив голову набок, а потом пальцем своим прозрачным, будто из лунного света сотканным, по ободку проведёт. И диво! От этого прикосновения заговоры, что мы в цветы вплетали, начинают искорками переливаться, вспыхивать синим да золотым, наливаясь истинной силой.

Тень лукаво подмигнула Нафане, проверяя, всё ли готово к встрече Нави и Яви. Наш бедный домовик от такого внимания небывалого дёрнулся, засмущался так, что бородой за крантик самовара зацепился!

Но виду не подал: спину выпрямил, пузо выпятил, бороду кое-как отцепил и замер с важным видом — мол, не отвлекай, Тень, видишь, я тут главный по приёмке магии и надзору за порядком!

Она ж — инспектор поважнее Кощея будет в эту ночь! Тень не буквы в свитках считает, а биение сердец лесных, и если она улыбнулась — значит, Купала задастся на славу.

А в чаще лесной, в это время, свой заговор назревал, вишей важности. Папоротники — существа гордые, древние да скрытные, они ведь еще тех времен помнят, когда горы были молодыми. Собрались они в тесный круг на прогалине, где луна в самую землю бьет, ветками-вайями переплелись, аки

пальцами, и давай хороводы водить под звездным покровом.

Идут плавно, скрипят стеблями, будто дверями в сокровищницу.

— Кто цвести в полночь будет? Кому огнецвет доверите? — вопрошала Морица, подкрадываясь на цыпочках и стараясь даже сучком не хрустнуть.

А они только шуршат хитро, и шелест этот многоголосый по лесу катится: «Не скажем... Не выдадим... Кому судьба — тот в очи пламени взглянет, а кому не дано — тот и мимо пройдёт, лишь крапивой ноги обожжёт».

Прятали они бутоны огненные за стальной своей броней, дразнились тенями, заманивали в дебри, чтоб запутать любопытствующих. Папоротники хитростью брали: они ловко выхватывали из лунного света ложные искры, подсвечивали ими соседние гнилушки да капли росы на паутине.

Глянет девка — а в кустах будто огонёк заветный вспыхнул! Бросится туда, ломая ногти об острые вайи, а там — пустота, только тина болотная под ногами чавкает.

Бегали наивные за этими призрачными огоньками, а папоротники только вайями-ножами друг о друга позвякивали, смеялись по-своему. Заманивали всё дальше в трясину, в самую гущу, чтоб к полуночи девки вконец запутались и не нашли то единственное место, где настоящий цвет Нави распустится.

Лишь Морица, прищурившись, шептала: «Не проведёте, колючие... Сердцем искать буду, а не глазами».

Место для кострица ладили на Поляне Трёх Сил.

Кузьма, как на зорьке пятого дня явился, сразу за дело взялся. Вместе с Добрыней таскали они брёвна дубовые, вековые. А Добрыня-то наш, гусь лапчатый, всё сковородками бряцал, удаль свою пернатую показывал.

Вышагивал по поляне, аки павлин облезлый — грудь колесом выпятил, шею вытянул и клювом так победно щёлкал, представляя, как он героически мой венок из воды выуживает на глазах у всей честной компании.

И давай он Кузьме в ухо шептать, планы свои завоевательные насчёт сердца моего нетронутого излагать:

— Вот увидишь, Кузя! — шипел он, косясь на Избу. — Выловлю Варькин венок в Стреминке — и всё, считай, девка в руках, га! Будет она мне блины каждый день печь, да перины взбивать, а не на загривке у этой курицы деревянной по лесам скакать. Гха-га!

Надумал, ирод пернатый, на самой грани миров у Стреминки встать, чтоб судьбу мою к своему крылу привязать. Только он не учёл, что ягуньи — они народ предусмотрительный…

Шишаки новости мне эти и донесли, то я свой план состряпала. При всех на лавке сидела, венок плела напоказ — да такой, чтоб ухажёр пернатый заранее слюнки пускал.

Только вплетала я в него тайком самую злую, колючую крапиву, что у старого забора вымахала, да чертополох забористый — пусть Добрыня лапы да клюв пообколет, когда это

«сокровище» из воды вытягивать станет! Будет ему и блины, и «порядок», и полное осознание женской коварности.

А настоящий венок — из нежных незабудок, мяты пахучей да заговорённых трав, что росой заповедной умыты были, — я стряпала втихаря, когда все спать ложилися. Прятала его бережно за печку, в самую темень.

Баюн в этом деле проявил себя как настоящий подельник. Кот — молодец, всю ночь на куче сена у печки демонстративно спал, усы распушив да похрапывая для вида, а сам хвостом следы заметал и лапой заначку мою прикрывал.

Стоит кому мимо пройти — Котяра глаз один приоткроет, когтем по бревну скрипнет, мол: «Проходи, мил человек, не мешай коту медитировать на величие мироздания».

Даже Нафаню к печке не подпускал, заявив, что у него там «энергетический сон повышенной важности».

Кузьма слушаёт россказни Добрыни, да помалкивает. Он хоть и слова лишнего не проронит, но брёвна дубовые подбрасывает так ловко, будто они веса вовсе не имеют, аки пушинки.

Играет мышцой, силушкой своей богатырской перед Морицей хвалится, стараясь каждое полено поудачнее пристроить, чтоб пламя потом ровным да жарким было. Да как глянет она на него, весь зашарится, разок поленом по лбу себе и врезал, так очи от нее оторвать не мог.

А Морица-то — не промах!

Стоит поодаль, венок свой поправляет, да только косой

длинной в его сторону поводит. Виду не подаёт, что залюбовалася, но смешинку в глазах прячет — видит же, для кого молодец так старается, аки кузнец на выставочной ковке.

Работники наши доски ладненько собирали да колодцем ставили, чтоб огонь до самых звёзд достать мог, Чернобогу на зависть, Ярилу на радость, а Велесу на веселье. Громадина вышла знатная — весь лес замер в ожиданице, когда же первая искра эту гору дров в живое солнце превратит.

Нечисть и чисть со всего леса на Поляну стягивалася — кто помогал, кто просто в первом ряду место забивал. Лешаки мох свежий охапками тащили, кулачищами его выбивали, чтоб подстилки для гостей были мягче перины.

Кикиморы, девки суетливые, ленты из болотного шёлка вязали — те в сумерках изумрудным светом подмигивали, аки глаза змеиные.

Шишаки в траве копошилися, светлячков в пустые тыквы да фонари из бересты собирали — к полночи вся поляна должна была сиять ярче Кощеевых подземелий.

А мы тем временем с русалками песни заветные разучивали. Встанем в круг, косы распустим — и как затянем:

— Ой, на Купала, ой на Ивана, ночь огненная до воды стала… Покажи мне суженого, приведи мне ряженного, водою напоенного, сердцем привязанного….

Голоса наши в небе ночном сплеталися, вибрировали так, что по Стреминке круги шли, а птицы ночные затихали, боясь лишним звуком магию спугнуть. Весь лес гудел, пред-

вкушая полночь.

Добрыня-то, гусь самонадеянный, уже клюв свой на крапивную подделку заточил, разнадеялся, и сны на мягкой перинке напредставлялся. Небойсь и ребятня уже босыми пятками по Избе шлепает, в мечтах его несбыточных.

А я всё на заначку свою за печкой поглядывала... Кому ж венок мой настоящий в Яви в руки упадёт?

Кто этот смельчак, что не побоится в Навь за своим счастьем прыгнуть и такую красу невиданную заполучит?

Сердце так и ёкает — то ли от страха, то ли от озорства яговского.

Как Яга судьбу на чисту воду выводила

На Поляне замерло само время.

Все собрались загодя, еще задолго до того, как последний луч солнца утонул в трясине. Не дивное дело, ведь не каждый год Купало в Нави празднуют да Ягиням суженного ишут.

Все вокруг дышало тем самым томительным, тягучим ожиданием, когда даже лесные задиры притихают, а магия начинает щекотать кожу изнутри.

Верлиока, обычно не умолкающий ни на минуту, замер у плеча Горыныча, поправляя ему последний бант. Все три головы Змея не мигая смотрели на сложенные брёвна, и в их золотых глазах отражалось ещё не рождённое пламя.

Кощей, недвижный, как изваяние, слился с тенью старого вяза — казалось, он и не дышит вовсе, лишь изредка поправляет перстень на костлявом пальце.

Слышно было, как в траве шуршат шишаки, как русалки на берегу речки едва слышно перебирают воду пальцами, боясь плеснуть лишний раз.

Даже Изба моя замерла, присела на корточки, боясь скрипнуть половицей. До этого неугомонный Котяра притаился на завалинке, уставившись в одну точку, лишь кончик хвоста едва-едва подергивался от нетерпения.

Воздух стал тяжёлым, пряным от полыни и ожидания. Каждый куст, каждая кочка на поляне будто набрали в грудь воздуха и не решались выдохнуть.

Все ждали знака. Ждали, когда Явь окончательно сдастся перед Навью и граница истончится, разрешив встретится мирам как двум возлюбленным.

И вот, когда тишина стала почти невыносимой, а первая звезда коснулась верхушки самой высокой ели, Ядвига дала знак.

Горыныч, выждав ту самую секунду, когда Луна зацепилась за верхушки деревьев, синхронно тремя головами набрал полные легкие воздуха. Грудь его чешуйчатая расширилась, банты от Верлиоки натянулися, и Змей выплюнул его — огненным, яростным шквалом прямо в сердцевину дубовых брёвен.

Наш «колодец» вздохнул, будто живой, выплеснув в небо стоголосый гул пламени. Огонь взвился до самых звёзд, рассыпая искры-метеориты, освещая и бледного Кощея в тени, и сияющую бороду Нафани, и каждую травинку на Поляне.

В этот миг лес перестал быть просто лесом — он стал Храмом, где куполом было небо, а колоннами — вековые сосны.

— Пошла жара! — гаркнул Баюн, спрыгивая с завалинки.

Он в один прыжок оказался в центре, у самого жара, и первым пустился в пляс, задрав хвост трубой и выбивая лапами такой ритм, что даже камни запульсировали.

И тут плотину прорвало.

Лешаки, забыв про степенность, закружились вприсядку, поднимая облака моховой пыли. Кикиморы, сверкая своими изумрудными лентами, затянули пронзительную, дикую песню. Верлиока, подхватив под локоток одну из мавок, пустился в изысканный, но безумный вальс прямо между искрами. Даже Изба на радостях так топнула курьей ногой, что сосны уважительно закачались.

Мы схватились за руки — ладонь в ладонь, когть в когть. В одном бешеном кругу сплелись ягуньи, мохнатые лешаки, русалки, что хвосты на ноги сменили и даже притихшие от торжественности момента кикиморы. Закружился такой вихрь, что земля под ногами запела на все лады, а трава под пятками начала светиться бирюзой!

Бесконечной живой цепью пульсировала магия, переплетаясь между мирами. Там, с другой стороны Стреминки, точно также плясал смертный люд, восхваляя ночь, в предчувствие волшебства и чудес Купала.

Граница истончилась, превратившись в хрустальный звон, и мы летели по ней, едва касаясь земли.

Ядвига запела.

Голос её, низкий, грудной, вибрировал в самом позвоночнике, заставляя кровь бежать быстрее, а сердце биться в такт ударам невидимого бубна. Под этот магический ритм даже старые коряги, вросшие в землю сотни лет назад, начали притоптывать своими узловатыми корнями.

А Изба-то моя! Глядя на всё это непотребство, она окон-

чательно позабыла о своём почтенном возрасте. Подтянув «юбки»-бревна, перебирая курьеми ножками так лихо приседать стала, выдавая такие па, что крыльцо ходило ходуном!

Бедный Нафаня, который всё же пришёл «приглядывать» с самым суровым видом, едва успел вцепиться в перила. Его то подбрасывало вверх, то вжимало в доски, и он только бороду успевал перехватывать, чтоб её ветром не унесло, пока Изба исполняла свой лучший купальский танец.

А потом началось самое лихое — прыжки через огонь.

Очищение! Время, когда каждый проверяет свою душу на прочность, а удачу — на верность.

Первым, конечно, сиганул Кузьма. Он разбежался так легко, будто за спиной у него выросли крылья, и пролетел над алым, ревущим зевом костра, аки сокол.

Пламя только лизнуло воздух под его ногами, и даже искры его белой рубахи не коснулися — ушёл чистым, как родниковая вода.

Следом за ним вспорхнула Морица, лёгкая, как предрассветная дымка.

Когда они в следующем круге прыгнули вдвоём, крепко взявшись за руки, пламя под ними согласно и ласково затрещало — добрый знак, крепкая связка, на такую даже Навь не покусится.

И есть ли толк, этой поганке зеленой, венок пускать-то? Дивина.

Добрыня же, глядя на такие успехи, решил, что его выход

должен затмить саму луну. Чтобы не ударить в грязь клювом перед Горынычем и всей лесной братией, он разбежался так, что земля под его лапами задрожала, а пыль взметнулась выше головы.

В полёте гусь так громко и неистово гоготал про свою безмерную удаль, что Тень Купальская, сидевшая на верхушке сосны, от смеха чуть прозрачность не потеряла и едва не сверзилась в черничные кусты.

Пролетел-то гусь наш лихо, высоко, да только в самом пике задрал хвост слишком горделиво. Раздалось характерное «пш-ш-ш», и по поляне поплыл запах палёного пера.

Приземлился «герой» на той стороне с ошалелыми глазами, суетливо оглядываясь на свой подпаленный хвост. А Тень только хитро подмигнула мне и за сосной скрылася.

Воздух стал густым, как мёд, и горьким от полыни — такой тяжёлый, что его, казалось, можно было резать ножом. Мы прыгали, смеялись, теряя счёт времени и именам.

Каждый прыжок был аки маленькое рождение: будто сбрасываешь с плеч старую, побитую молью шкуру, оставляя в ненасытном пламени все хвори, мелкие обиды и липкую зимнюю стужу.

Неожидано мою руку подхватили и вот я уже лечу в пламя, перекидываюсь на ту сторону, а за руку мою крепко держится Кощей. Мое сердце всполошенное, еще в покой не пришедшее, на новый круг неистовый заскочило. Инспектор посмотрел в глаза мои рассширенные, руку отпустил, молча

развернулся и поминай как звали, в ночь удалился.

Пока стояла я огорошенная, на поляне новое действие началося.

Нечисть бесновалась рядом, окончательно потеряв голову от воли. Лешаки, забыв про свой возраст и вес, крутили такие сальто, что мох летел во все стороны.

Шишаки, мелочь пузатая, устроили безумную чехарду прямо в искрящемся вихре над углями.

Я стояла у самого края, чувствуя, как лицо обдаёт живым, яростным жаром. Сила во мне бурлила, перекатывалась горячими волнами, а веснушки на щеках горели и пульсировали, будто настоящие угли, вылетевшие из костра.

В ту секунду всё исчезло: и былые тревоги, и вредный Добрыня, и даже само время. Весь мир превратился в один бесконечный, ослепительный прыжок из «вчера» в «завтра», в полёт над бездной, где только огонь и рука в руке.

Когда хоровод закружился так, что небо и земля окончательно поменялись местами, а искры в небе стали неотличимы от звёзд, вышла в центр Ядвига.

В руках она держала огромную, тяжёлую чашу, вырезанную из цельного корня древнего дуба. В ней плескалась сурица — золотая, густая, настоянная на семи заповедных травах, диком мёде и чистом солнечном свете, пойманном в день солнцестояния.

— Пейте, лесные! Пейте, вольные! — провозгласила она, и голос её раскатился над поляной весенним громом, застав-

ляя замолкнуть даже пламя.

Стоило каждому глотнуть этого янтарного зелья, как у всей честной компании окончательно «планку сорвало». Лешаки, обнявшись с березами, запели басом такие залихватские частушки, что у сосен иголки посыпались дождём, а шишки начали лопаться от восторга.

Кикиморы в своём фосфоресцирующем болотном шёлке пустились в такой неистовый танец на кочках, что только ошмётки тины да изумрудные брызги летели во все стороны, аки салют.

Даже Добрыня, глотнув лишнего, напрочь позабыл и про своё достоинство, и про мечты о блинах со сметаной. Возомнив себя великим полководцем, он начал пытаться научить Баюна строевому шагу, важно вышагивая перед ним и задирая лапы выше клюва.

Кот, чей авторитет страдал на глазах у всего леса, только уши прижал да когти на правой лапе выпустил — гусь был в миллиметре от того, чтобы получить «печать судьбы» прямо по пернатому фюзеляжу, да только Колобок спас его глупую тушку, оттолкав поближе к воде.

Веселье стало таким густым, хмельным и искристым, что его, казалось, можно было на хлеб намазывать вместо масла!

Но вот Луна, круглая да белая, как головка свежего сыра, выкатилась в самый зенит, замирая прямо над костром. В этот миг шум на поляне стих, оборвался на полуслове, будто весь лес разом набрал воздуха в грудь и побоялся выдохнуть.

Тень Купальская, недвижно сидевшая на ветке старой ивы, медленно вытянула длинный, прозрачный палец в сторону реки. Время пришло. Границы миров истончились до предела.

Я почувствовала, как по спине пробежал колкий холодок — мой настоящий венок там, в глубине Избы, за печкой, начал пульсировать живым, зовущим теплом. Баюн, сидевший у самого порога, коротко и властно мяукнул, подавая мне знак: «Всё чисто, Варька, пора. Шишаки спят, Нафаня любуется бородой».

Я тихонько, бочком, стараясь не привлекать внимания хмельных гостей, начала пробираться к Избе. Навстречу мне попался Добрыня — он уже стоял у тропинки на низком старте, нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу.

Потирал свой обожжённый хвост и глядел на реку голодными, лихорадочными глазами. Он-то, наивный, уже видел себя хозяином в моём доме.

А я... я прошла мимо, едва сдерживая улыбку.

Я чуствовала, как в густой тени запечья разгорается мягкий, золотистый свет моего истинного счастья. Травы в том венке шептали моё имя, подмигивая лепестками незабудок.

Пора было выводить свою судьбу на чистую воду.

Купальский рикошет

Берег Стреминки сейчас — настоящий ярмарочный день, яблоку пасть негде!

Разукрасил его девичий народ разный: ягини звенят костяными украшениями, мавки сверкают глазами, что светятся в темноте кошачьим золотом. Русалки шепчут в воду, заговаривая течение, а болотницы то и дело норовят в ил зарыться, только макушки в тине торчат.

Мы стоим у самой кромки.

Там, на том берегу, в Яви, костры людские полыхают — девичьи голоса оттуда звенят, перекликаясь с нашими, сплетаются в одну великую песню, от которой воздух дрожит.

Я иду к воде. Под мышкой — колючее жжение «крапивного недоразумения», аж кожу покалывает.

Добрыня уже дежурит у переката. Вытянул шею, лапами в иле нетерпеливо перебирает, только брызги летят.

— Ну, Варюша, кидай! Порадуй суженого! — гаркает он, расправляя свои многострадальные подпаленные крылья.

Я, честно глядя ему в глаза, размахиваюсь и пускаю крапивную подделку точно по течению. Гусь, не раздумывая ни секунды, с победным кличем «Моя-а-а!» бросается в воду, аки коршун.

И вот тут берег просто взрывается хохотом!

Когда Добрыня вцепляется клювом в этот колючий ше-

девр, Баюн на камне аж на спину заваливается, лапами в воздухе дрыгает. Мавки в ладоши хлопают, захлебываясь смехом.

Гусь в воде крутится юлой: и венок выпустить боится — добыча ведь! — и от жгучей крапивы увернуться пытается. Шипит, гогочет, шею выгибает, а крапива его за самое нежное, за клюв да за перепонки прикладывает. Но гордыня — штука злая, бросить венок не позволяет!

Пока всё внимание на этот пернатый балаган приковано, я незаметно отхожу в тень старой ивы. Достаю свой настоящий венок. Он в ладонях прямо пульсирует, незабудки в нём сияют ровным, манящим золотом, а медуница пахнет так, что голова кружится.

— Ну, лети, родной... — шепчу я и осторожно опускаю его в тёмную, быструю воду.

Венок мой не плывёт — он мчится!

Стреминка подхватывает его, аки верная гончая, и несёт вдоль берега, мимо острых коряг и седых камней. Я бегу по склону, не сводя с него глаз, и вдруг замираю.

Там, на другом берегу, в туманной Яви, стоит силуэт. Высокий, мужской, недвижимый.

Он замер у самой воды, будто ждал именно этого света. Сердце моё заходится в неистовом ритме: «Неужто он? Неужто за моим счастьем пришёл?»

Силуэт делает шаг вперёд, к самой кромке...

В тот миг, когда мой заветный венок, сверкая золотым

пунктиром незабудок, несется над самой быстриной, над рекой взрывается сама тишина. Из темных глубин, взрезая гладь аки таран, вылетает Водяной. Чешуя его под луной вспыхивает холодным серебром, а в глазах — шальной азарт и три литра Ядвигиного зелья.

— Эх, раззудись плечо! — ревет он, и голос его перекрывает гул течения.

Он летит через Стреминку, нацелившись прямиком в Явь.

Прямо в воздухе начинается дикая, ломаная трансформация: чешуя с треском осыпается, превращаясь в сукно мокрого кафтана, рыбий хвост на лету раздваивается, судорожно втискиваясь в пудовые кожаные сапоги.

Секунда — и над водой несется уже не рыба переросток, а здоровенный, ошалевший от собственной наглости парубок.

Это одна ночь в году, когда Водя в Явь вхож, и право имеет невесту себе выбрать и коли девица-красная согласие даст, то в Навь ее привести.

Но магия — дама капризная. В самый пик дуги, когда до заветного берега остается всего локоть, Водяной вдруг «ловит клина». Он нелепо загребает воздух руками, аки ветряная мельница, его ведет в сторону, и с утробным, оглушительным «БУЛЬК!» обрушивает в воду.

Точно. Центнером живого веса. Прямо на мой летящий венок.

Секунда оглушительной тишины, только эхо от всплеска гуляет по лесу.

И тут из пены, мути и поднятого со дна ила выныривает эта физиономия. Кафтан на парубке пузырится, в бороде запуталась ряска, но рожа — наглая и счастливая до безобразия.

А на самой макушке, съехав на левое ухо и чудом не утонув, сияет мой заветный венок. Золотые искры незабудок издевательски подмигивают мне из-под мокрой челки этого речного «героя».

— Невеста-а-а! — орет этот десантник, захлебываясь восторгом и грязной водой. — Сама судьба в руки... то есть на темя прилетела! Быть свадьбе, Ягиня! Готовь приданое из сушеной пиявки!

Баюн на берегу в этот миг аж когти в камень вонзил. Весь его смех как вет

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.